В. ЕМЕЛЬЯНОВ

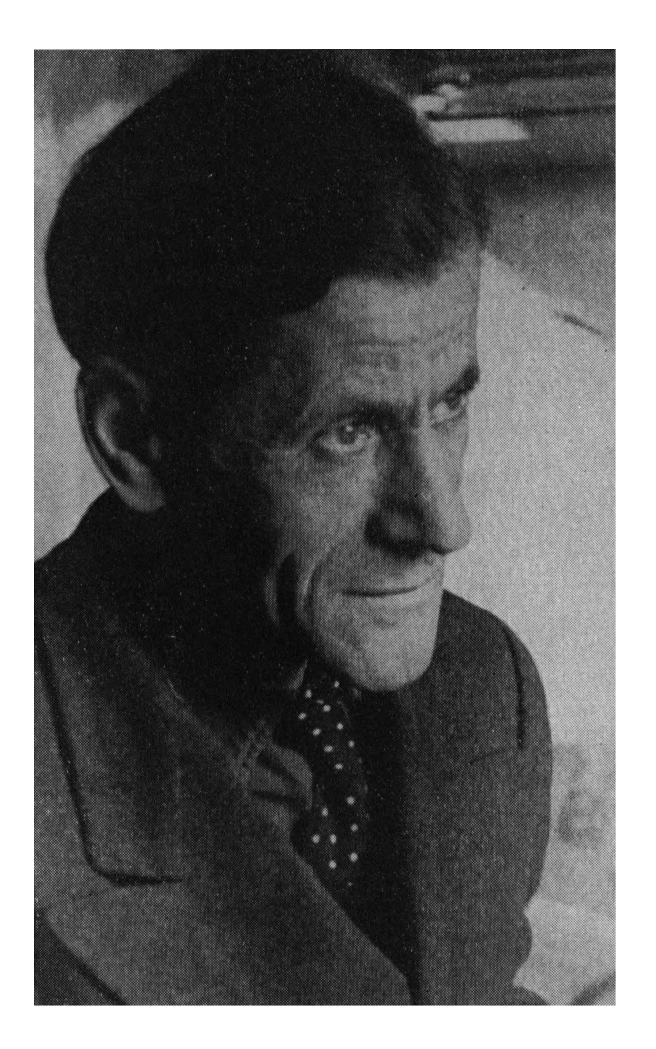
СВИДАНИЕ ДЖИМА

Повесть

Париж 1964



СВИДАНИЕ ДЖИМА



В. ЕМЕЛЬЯНОВ

СВИДАНИЕ ДЖИМА

Повесть

Париж 1964

ВСТУПЛЕНИЕ

Виктор Николаевич Емельянов родился в Екатеринбурге 26-го июля 1899 г. Учился в Таврическом Университете в Симферополе на медицинском факультете, мечтал стать врачом, но так и не удалось окончить учения. Служил радистом в Черноморском флоте. Из России выехал в 1920-м году, два года провел в Болгарии и наконец попал во Францию. С самого начала ему не повезло. Связей не было, а французский язык он знал плохо.

Вот что он пишет о себе в 1953 г. в письме к одному литератору:

«Я во Франции с 1923 г. С первых дней — на заводах полуквалифицированным рабочим. 1923-34 — на автомобильном, с 1937 — на химическом (типографские чернила), а с 34 по 37 — безразботица — невольный и невеселый отдых, позволивший мне заняться, как следует (он пишет свой роман «Свидание Джима». Моя заметка. О. М.). Тогда мне было 35 лет, и только 11 лет завода за спиной. Теперь мне 54, и 30 лет работы. Машина износилась, работает почти бесперебойно, — но только работает. 10 часов в день — не бюро, где нет ни грязи, ни тяжестей, где работают сидя. На занятие другим сил больше нет.

«В декабре 1936 г. Адамович дал положительный

отзыв. В 1936 часть повести была напечатана в альманахе «Круг». В 1939 книга вышла. К 1946 — разошлась. Жизнь моя изменилась морально, но не материально.

«О самой книге говорить не буду. Если прочтете, увидите сами, в чем дело, почему главный герой, или, вернее, двойник героя, собака — символ верности все равно кому или чему...».

После войны В. Емелянов начал писать в свободные минуты другую повесть — «Рейс». Отрывок этой неоконченной повести был напечатан в журнале «Грани» в № 41 в 1959 г.

Он продолжал работать без перерыва, пока силы окончательно не покинули его, и умер после мучительной болезни в 1963 г.

Похоронен на кладбище С. Женевьев дю Буа.

Не будет преувеличением сказать, что В. Емельянов не только вложил всю свою душу в эту книгу (в ней много автобиографических данных), но и пожертвовал и своей жизнью, чтобы создать ее. В годы безработицы у него был выбор — научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы освободиться от заводского труда, или писать эту повесть. Творческая страсть оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Другого такого случая больше не было ему дано, и до конца дней он был обречен на тяжелый труд, что и было причиной преждевременной смерти.

Эмигрантские критики в общем горячо отозвались на появление романа «Свидание Джима».

Г. Адамович пишет в 1936 году по случаю первого выпуска Альманаха «Круг»: — Отдел прозы украшен новым именем В. Емельянова... За последние десять лет мне пришлось прочесть очень много рукописей... вспоминаю за все эти десять лет лишь один случай такого же радостного неожиданно-негаданного «шока», как от книги Емельянова — впечатление от «Повести с кокаином» Агеева... Вещи, ни в чем не схожие, кро-

ме сразу возникающей над ними уверенности, что это, действительно, — «настоящее», что ошибки быть не может.»

В 1939, когда была напечатана книга, он вновь пишет о ней: — Года полтора или два тому назад я читал ее в рукописи. Только-что перечел ее в печати и испытал то же волнение, а что скрывать, у человека, читающего книги «по профессии», чувства притупляются, и взволноваться над книгой, о которой к тому же придется дать отзыв, ему случается редко... Но у Емельянова так очевиден душевный подъем, в его романе столько эмоциональной чистоты и силы, что свежесть восприятия возвращается при чтении само собой... В романе есть тот внутренний свет, который всегда оживляет всякую поэзию.»

В 1947 году, в своей статье «Письма и рукописи», говоря о начинающих писателях-эмигрантах, Г. Адамович снова возвращается к роману Виктора Николаевича и на газезтных столбцах замечает: — «Свидание Джима» вещь недостаточно оцененная... Книги этого рода дают право в разговоре о здешней литературе употреблять такие слова, как подвижничество.»

В журнале «Грани», № 32, появляется статья его редактора — Н. Тарасовой. Вот, что она пишет: «Всегда ли пишутся рецензии на новые книги? И что такое новая книга? Ведь есть книги вечно-новые, о которых можно вечно писать. «Свидание Джима» — это книга о любви, о ее могуществе. О ее чуде. Только любовь в этом мире реальна, действенна и прекрасна... Как мало настоящих неподдельных книг о любви!... Этой книгой в войну зачитывались наши русские девушки и юноши, взятые по набору в гитлеровскую Германию. Ее рвали в библиотеках из рук. Над ней плакали, потому что ее искренность и ее бесконечная простота находит прямую дорогу к сердцу... Автор писал свою книгу в годы безразботицы. Иногда и горе стано-

вится радостью. Творческой радостью. Не было бы безработицы во Франции, не родилось бы «Свидание Джима».

10-го сентября 1963 г., откликнувшись на смерть писателя, Ю. Терапиано пишет о его книге: — Это был не обыкновенный любовный или психологический роман, а история души, встреча души с возлюбленной —, и в доказательство своих слов приводит цитаты из романа.

«В такой любви и памяти много печали, многое слишком хрупко и прозрачно, но оно незаменимо, в нем единственный выход, та вторая жизнь, без которой первая ничего не стоит. Что значат все трудности, сопровождающая их иногда боль, если есть то, на чем все можно удержать, не разменять себя, жить лучами и теплом того волшебного света, который она зажгла во мне?» (гл. 13).

Я. Горбов в журнале «Возрождение», № 144, пишет: — «Все в книге чистейшая прозрачнейшая правда... Ее замысел только кажется сложным, и на самом деле «сложность» это — сочетание умения и требовательности к себе. Эта требовательность, щепетильная, утонченная, прямо-таки беспощадно противоставленная лукавому мудрствованию, и побудила, думаем мы, автора искать и найти оригинальный, новый прием: поручить изложение... сеттеру Джиму. Собаки, как знает всякий, ни лгать... ни обманывать не умеют. Почувствовав, что наша наблюдательность и наше аналитическое восприятие могут, в иных обстоятельствах, быть помехой, что сквозь их призму замысел и интрига рискуют показаться «вымышленными и условными», В. Емельянов обратился за помощью к натуре бескорыстной, к существу неискренности не знающему, и тем устранил возможность фальши... Емельянову Джим был нужен для того, чтобы выразить на человеческом языке то, что этому языку, в некотором

смысле, предшествует... Главное это тонко подмеченная и глубоко прочувствованная связь между автором-героем и чутким псом его, — связь, о которой можно сказать, что она, в сущности своей, духовная... рассказано с таким деликатным мастерством и проникнуто таким благоговением перед тайнами природы, что трудно говорить о связи иной, чем духовная».

Виктор Николаевич верил, что книга его дойдет и до советского читателя. Эта вера поддерживала его в многие трудные минуты. «Книга моя останется», говорил он, «в России ее узнают».

О. Можайская.

М. Т. А-ой.

...в этой книге нет ни слова правды, вымышлено и условно все с начала до конца: этот Джим и его подруга, их слишком очеловеченные чувства. Но в этой книге нет и лжи, все, о чем ведется рассказ — было, или могло бы и должно быть...

«Свидание Джима»
отрывок 64.

Кто раз взглянул в желанный взор,
Тот знает, кто она.

Блок.

1.

Моя госпожа уезжает с утра в Париж, в свой театр, и возвращается всегда поздно ночью. Всякий раз она склоняется надо мною, гладит, ласкает и говорит тихо и печально: — «Джим... Джим...»

Я старый, очень устал, я скоро умру.

Моя счастливая звезда дала мне теперь, когда все прошло, возможность неторопливо вспомнить и записать то, что я считаю нужным и достойным.

Итак — я почти всегда один. Моя госпожа бывает со мной лишь изредка и по-немногу, и лишь тогда я могу лизнуть ее худую руку. Это моя последняя радость, это же и развязка тому, что прошло около меня и чему я единственный свидетель. Я постараюсь рассказать все просто, по порядку, и тогда, может быть, станут ясными моя усталость, одиночество, и то, как я очутился у моей госпожи.

2.

Была весна, Париж и утро знаменательного дня. Нас, четырех братьев, ирландских сэттеров, разбудил мосье Манье — мой самый первый хозяин. Он выбрал

почему-то меня одного, и одного меня увез на выставку. Там моими соседями была такая же молодежь, а может быть и зеленее: слева — фокс, справа — санбернар. Их привезли раньше, чем меня, и мое появление они приветствовали отчаянным и визгливым лаем.

Я вспоминаю ту выставку, как ряд смешивающихся шумов: нашего лая, смеха детей, преувеличенно-восторженных и ненужных восклицаний женщин, коротких замечаний мужчин. И еще руки: были бледные, нежно-розовые, были обтянутые в коричневую или черную лайку.

Вначале я смотрел на лица, но вскоре это мне наскучило. Нужно было слишком высоко поднимать голову, да, вероятно, я тогда же заметил, что неинтересно наблюдать одновременно много лиц, когда они одно подле другого. Смотреть на лицо человека стоит больше всего тогда, когда это лицо хотят скрыть, не показать того или иного чувства, когда человек убежден, что его никто не видит, или когда вообще все, а не только чужое любопытство, безразлично.

Перед моей клеткой остановилась девочка, совсем маленькая, чуть ниже моего теперешнего роста. Руки у нее были без перчаток и они были столь хороши в их первой нежности, что я заскулил и прижался к сетке. Пальчиком девочка дотронулась до моего носа. Запахло таким прелестным, детским, что от восторга, от страха, что это может не повториться, я заскулил еще сильнее, а девочка засмеялась и сказала своей большой спутнице: «Но он у него холодный, мама, совсем холодный!»

Они долго стояли около моей клетки, и я еще несколько раз лизнул пальчик девочки. Они ждали кого-то и нетерпеливо оглядывались по сторонам. Потом к ним подошел господин, который бегло взглянул на меня и сказал: «Он выростет и не будет веселым. Возьмем фокса, этот всегда будет играть с тобой». И они купили

фокса и сейчас же увели его. На прощание, фокс и я полаяли. Он — от радости, я — от неудавшегося простого и легкого счастья. «Забавляй же барышню!» — крикнул я фоксу, но он не слышал, он забавлялся сам с собою, — прыгал и лаял коротко и звонко.

Санбернара купила высокая худая дама. Она задержалась на минуту около меня, но будущая представительность моего соседа, вероятно, лучше отвечала ее вкусу и поэтому не я, а он, остановил на себе ее выбор. Когда она стояла около нас, я видел, как проходившие женщины с любопытством и восхищением рассматривали ее дорогое манто, меха, шляпу. До меня донеслось: «одна из систэрс». Потом - потом, бывая в Париже, по изображениям на ярких всюду расклеенных афишах и случайно подслушанным словам, я узнал, что это была одна из звезд парижского мюзик-хольного неба. Счастье другое, может быть, более роскошное, прошло так же, как и первое, мимо.

Я остался один и опять разглядывал руки. Они мелькали предо мною и мне, совсем юному сэттеру, так много почуялось тогда в тех нервных, вялых или грубых, несмотря на выхоленность, руках.

Против меня остановился господин в светлом коричневом пальто, с бледным утомленным и как будто бы суровым лицом. На вид ему было около тридцати лет. Левая рука его была в перчатке, в правой, сухощавой и небольшой, он держал еще незакуренную папиросу. В первую минуту меня ничто в нем не заинтересовало. Но когда я встретился с его глазами, спокойными и усталыми, как у старика, совершенно неотвечающими его моложавой фигуре, с пристальным вниманием рассматривающими меня, я увидел, что никакой суровости в этом человеке нет и что он нисколько не похож ни на мосье Манье, ни на других, кого я знал в то время.

Медлительными движениями он закурил, положил

зажигалку в карман пальто и надел перчатку на правую руку. Эта медлительность и взгляд, который он не сводил с меня, вызвали во мне симпатию. Чтобы выразить ее, я тявкнул и помахал хвостом. Едва заметно улыбнувшись, господин произнес несколько слов на незнакомом мне языке. Я помню, как он посмотрел на доску с моим именем и номером и как, после этого, улыбнулся снова. На этот раз его улыбка была такой, как если бы он был немного удивлен и обрадован. Он посмотрел на меня еще более внимательно и опять что-то сказал, но я также ничего не понял, кроме своего имени, которое у него прозвучало, как давно и хорошо ему знакомое. Он ушел и вскоре вернулся с мосье Манье, который был очень весел и ,заботливо предупреждая о неизвестных мне самому моих вкусах и привычках, очень хвалил моих родителей и меня.

Я помню длинную дорогу в мягких толчках и покачиваниях на войлоке около ног нового хозяина. Начиналась другая жизнь.

3.

Дом, в который меня привезли, был маленький и низкий. В нем было четыре комнаты. Стены одной из них были заставлены шкафами с книгами, вторая была светлая, просторная и самая уютная, несмотря на то, что в ней никто не жил и в нее редко заходили, в третьей прошла большая часть моей жизни. Там был такой же, как во второй комнате, большой, во весь пол ковер, низкий и мягкий диван, был еще один диван, но более узкий и жесткий, — (на нем спал мой хозяин), был большой тяжелый стол, шкаф и этажерка с книгами, два глубоких кресла и маленький низкий столик из полированного красного дерева. На нем стояла бле-

стящая машинка, которая горела темным пламенем, когда господин варил себе на ней кофе. Большое окно было всегда наполовину задернуто шторой и от темного цвета обоев комната в самые солнечные дни была в мягком и приятном для глаз полумраке. Стеклянная дверь вела на террасу, обращенную вглубь сада, достаточно большого и запущенного. В нем было много сирени и больших белых роз и хризантем. В четвертой комнате жила пожилая женщина, которая смотрела за нашим хозяйством и всегда в один и тот же час приносила моему господину и мне что-нибудь горячее и вкусное.

4.

Первое, что меня удивило больше всего в моей новой жизни, была тишина, какой никогда не было в доме мосье Манье. И еще: спокойствие и как будто бы неподвижность жизни нового хозяина. Я долго не мог определить, что он собою представляет. Привыкая, приучаясь понимать его слова, я убеждался все больше, что я не ошибся в своем первом впечатлении. Он и в самом деле ничем не напоминал мосье Манье. Он никогда не наказывал и не кричал на меня. С людьми, при редких встречах, он был всегда сдержанным, замкнутым и сухим. Он редко выходил из дому и, исключая те два-три месяца в году, на которые мы уезжали в горы или на море, он большую часть времени проводил за письменным столом, в кресле с книгой и в работе или прогулке по нашему саду. Было похоже, что он ушел от обычной жизни. Лишь мало-по-малу, следя за каждым его движением, словом и выражением лица, я стал понемногу понимать его. Неподвижность была только

внешняя. В тишине, вдали от всех, он жил какой-то особенной, своей и далеко неспокойной жизнью.

День у нас начинался так: — вернее, даже не день: в жизни господина все шло не так, как у других, как, например, у хозяев моего соседа и визави, пуделя Рипа и борзой, прекрасной нежной Люль. Ах, Люль!.. Нет, потом, потом... — Солнце, которое все поднимает, не оно указывало нам часы обычного пробуждения и работы. Мне это казалось странным первое время. Живя у мосье Манье я привык думать, что расписание, которому подчинялись и мы, и мосье Манье, было самым правильным и единственно возможным. Все было с утра до вечера распределено точно так же, как распределялось в других домах. Я знал час, в который Мосье Манье уходил в ближайшее кафе пить аперитив, знал, когда он сядет в кресло с сигарой и газетой и, то удовлетворенно посмеиваясь, то бранясь, будет называть имена жокеев и лошадей, с которыми у него были какие-то таинственные для меня счеты. Все это было привычно, как часы обеда и уборки наших помещений. Такие же заполненные различными занятиями дни я думал найти в доме господина. Но здесь все шло иначе. Когда потом я рассказывал Люль о нашей жизни, она недаром посмеивалась и называла нас полуночниками. Наш день — работа господина — начинался, когда наступали сумерки, и шум с улицы доносился все реже. В этот час господин садился за стол, и я слышал, как скрипело перо и шелестели листы. Так продолжалось до того часа, в который звезды исчезали в светлевшем небе и летом из сада веяло свежестью. Он ложился спать, а я, выпущенный на свободу, шел ждать Люль. Мы уходили с ней в недалекий парк и возвращались около полудня. К этому времени, летом — раньше, зимой позднее, просыпался господин и пожилая женщина приносила ему вместе с завтраком пришедшие за утро газеты. Время до сумерк было томительным и ненуж-

ным. Солнечный свет и доносившийся с улицы дневной шум как будто бы мешали господину быть сосредоточенным и к чему-то прислушиваться. Он разбирал и приводил в порядок рукописи, рылся в библиотеке, отделывал в саду грядки, изредка уезжал — один или со мной — в Париж. Но все это делалось — часто казалось мне — только для того, чтобы как-нибудь протянуть время, незаметнее дождаться вечера, когда начиналась настоящая и нужная жизнь.

3.

Иногда вместе с газетами приходили письма. Это случалось довольно часто, и я скоро заметил, что некоторые из них он, раньше чем вскрыть, рассматривал очень внимательно, особенно те, которые были в узких серых конвертах. Его постоянное спокойствие в эти минуты слегка нарушалось. Однажды я видел, как он поднес такое письмо близко к глазам, как бы желая лучше разглядеть почерк. Он разорвал потом конверт с тем же безразличием, с каким разрывал другие и так же, едва прочитав первые строки, скомкал и бросил письмо в корзину. Но в тот раз письмо упало на пол, и я почувствовал тот самый немного волнующий и нежный запах, которым часто пахли уши Люль. В те дни ее ласкала ее хозяйка. И вот, иногда, после таких, хотя и брошенных в корзину писем, господин бывал сосредоточенее обыкновенного, и то долго ходил по комнатам, то оставался неподвижным в кресле, о чем-то напряженно думая, или что-то стараясь себе представить. Что именно с ним тогда происходило и что было причиной такого его состояния, я не знал очень долго. Но пришел день и я не все, но многое понял. Он получил

опять одно из таких же ненужных для него писем. Сидя на широком диване, который стоял позади его стола, он позвал меня, посадил рядом с собою, долго гладил мой затылок и шею, потом обнял и притянул к себе.

— Джим, Джим! Когда же ты найдешь ее?

Он сказал это очень тихо и его слова, вырвавшиеся как вздох, были обращены как будто совсем не ко мне, а к чему-то своему, очень давно продуманному и томившему. Не понимая о чем он говорит, я поднял голову.

Он, не отрываясь, смотрел на стену над столом. Я тоже посмотрел туда. Там висел большой портрет девушки, почти еще девочки, с тонкими капризными чертами лица, в маскарадном или театральном наряде, смотревшей на нас из рамы, как из фантастического сна или из сказки. Я понял, чье письмо он ждал с таким нетерпением. Письма в узких серых конвертах своим внешним сходством всякий раз вводили в заблуждение и взволновывали. С этой минуты я понял, что это девичье лицо, как далекая звезда, мерцало над жизнью, с которой мне было суждено встретиться. Мне тогда же подумалось: не для нее ли, этой девушки, приготовлена вторая комната, в которой все, начиная с цвета и рисунка обоев и кончая небольшой полкой книг, заполнявшейся очень медленно, словно господин делал тщательный отбор ,все гооврило о заботе и внимании к чьему-то вкусу простому и взыскательному. Из слов господина я понял, какой необыкновенный мир любви раскрывался предо мною. Он говорил мне:

— Джим! Почему же ее все еще нет с нами? Ты видишь, все готово, чтобы встретить ее, даже ты, живой, настоящий Джим.

Я узнал потом, что у меня был предшественник, тоже Джим и тоже ирландский сэттер. В написанной от имени того Джима книге господин вспоминал о сво-

ей юности, рассказал о нашей уединенной жизни и ждал возвращения расставшейся с ним его подруги. Ждал, и она пришла. Так оканчивалась та книга. В действительности случилось по-иному. Девушка к нам не пришла и все было, как портрет, немое и холодное, во всем было приготовление к празднику, которого мы не дождались. Жизнь же, которая шла за порогом нашего дома и из которой приходили письма, пахнувшие духами, была далекой, неинтересной и ненужной, как и сами те письма. Мне казалось страным первое время, почему я, именно я, сэттер Джим, должен был сделаться участником самого дорогого и, повидимому давно и очень наболевшего в душе господина. Потом, когда предо мною прошло много его тяжелых и одиноких часов, в которые он, может быть, ища облегчения, то рассказывал, то читал мне, вразброд и по частям, книгу моего предшественника, потом я понял, что ему было необходимо поделиться с кем-нибудь его необычным и печальным счастьем. Выбор пал на меня.

6.

В первый раз я увидел Люль на закате солнца. Было начало лета. Только что прошел дождь. Улица, на которую я тогда выбежал, была вся розовая. Воздух был влажный и чистый. Блестела зелень каштанов. По мокрому асфальту, шурша шинами, подъехал к дому напротив нас спортивный голубой автомобиль. За рулем сидела молодая, очень красивая женщина. Она легко и упруго соскочила на троттуар. Вслед за нею выпрыгнула белая борзая. Я не знаю, как назвать то, что тогда произошло во мне. Я тотчас же весь без остатка и навсегда, почти бессознательно и ни с чем не счита-

ясь, потянулся к тому, что шло на другой стороне, немного склонив голову и легко переставляя лапки. Едва закрылась их калитка, я перелетел дорогу и увидел следы. В воздухе еще пахло духами той женщины и пахло... Ах, Люль, Люль!... Разве это возможно, что тебя больше нет, что большой тяжелый автомобиль раздавил тебя на парижской улице?... Я смотрел на землю по которой она только что прошла, ходил около калитки, и, не сдержавшись, толкнул ее лапой. Калитка была слишком тяжелой или запертой...

— Это вы? наш необщительный как и ваш господин, незнакомец? Вы немного рассеяны... — услышал я из-за калитки. Так заговорила Люль, так началось наше знакомство. Она сказала мне, чтобы я обежал квартал и ждал ее у каменного забора. Я быстро нашел тот забор, но был в недоумении. Забор был очень высокий и не было ни ворот, ни калитки. Я стоял, не понимая, как я мог ошибиться и придти не туда, куда следовало... Над забором взвилось белое, и, поджав ноги, рядом со мной упала Люль. «Вот и я», — сказала она, смеясь и переводя дыхание. Вероятно, у меня был очень смешной вид. Продолжая смеяться, Люль спросила: «Вам понравился мой прыжок?» От неожиданности, восхищения и от чего-то еще, что сбило мои чувства и мысли в радостный сияющий ком, я ответил совсем не так, как хотел и как было нужно. «Но с той стороны забора земля выше чем здесь? там есть что-нибудь?...» — «Там была теннисная площадка, — разгон больше чем достаточный», — ответила Люль и заговорила о другом... Вечерело, Люль улыбалась и внимательно слушала тот, конечно, вздор, который я говорил тогда. «Я должна возвращаться домой, да и вам пора к вашему господину», — сказала она наконец. «Но я хочу с вами встречаться. Вы очень смешной. Не сердитесь, — так лучше, чем многое другое. Когда-нибудь, когда вы подольше поживете с нами, познако-

митесь, вы это хорошо поймете. А пока — не стойте на дороге». И Люль, так же, как появилась, так же и исчезла за высоким каменным забором.

7.

Такой была наша первая встреча. Люль исчезла, не назначив мне следующего свидания. Прошло немало дней прежде, чем я ее увидел вновь. Я выходил много раз на улицу, ходил около калитки, подолгу сидел, глядя на каменный забор. Не было ни Люль, ни голубого автомобиля. В этих неопределенных и тоскливых ожиданиях начались мои знакомства. До тех пор я не знал никого, отчего Люль и назвала меня необщительным. Первым был Рип.

Я возвращался с моих безрезультатных поисков. На душе была пустота, во всем недоставало Люль. Явившись мне всего один раз, она во всем сделалась необходимой.

— Эй! Послушайте! Вы! Сосед! — крикнул кто-то мне из подворотни. — Все Люль ищете? Плюньте на это дело: Люль увезли. Да и не стоит ею заниматься, все равно она не захочет знакомиться с вами. Люль горда, едва разговаривает с нами и вы — бросьте дурака валять.

Я не ответил, но Рип продолжал.

— Ну, что вы в самом деле? Люль, да Люль! Можно ли ходить курицей из-за этого? Верьте дружескому слову — плюньте. Здесь есть лучше, чем она. Фоллэт знаете? — моя прошлая слабость. Теперь у меня Мирза. Всегда с одной — тоска. Но не хочу лгать: Фоллэт — то, что надо: и формы, и характер восприимчивый. А Люль?... Худа, холодна, с ней скучно: не

скажи, не сделай ничего лишнего. Плюньте. И потом, повторяю, Люль увезли, может быть, навсегда. Завтра, когда я не буду под замком, я вас познакомлю с нашей компанией. Будет весело, о Люль и не вспомните. Увидите сами. —

Люль не было, я не знал, вернется ли она, у меня все тоскливее становилось на душе, и было слишком мало воспоминаний, чтобы оставаться всегда одиноким, я выходил все чаще, и очень скоро у меня завязалось обширное знакомство. Много вкусов, характеров, манер думать и держаться прошло предо мною в те три месяца. Но я ни разу и ни в одной из моих знакомых не почувствовал того, что безошибочно узнал и чему без колебания поверил в мелькнувшей тогда всего один раз и навсегда оставшейся светлым видением — Люль.

8.

Все это было давно, все прошло, кончилось. Нет больше Люль, я не знаю, живы ли мои знакомые той или иной поры. Теперь тишина и одиночество. Все давно утряслось, переболело, волноваться больше не о чем и незачем. Пришло время неторопливых оценок. Я перебираю в памяти всех, кого я знал и останавливаюсь невольно над одной Люль, но не потому, что она была моей подругой. Мне кажется теперь, что если бы я не любил ее, я все-таки не смог бы и в то время както по-особенному ее не заметить, и не выделить в очень немногочисленный круг. Я не хочу отмечать ее ум или красоту. Говорить о таких вещах в наших молодых подругах стоит вообще только тогда, когда они, эти подруги, не оставили нам иных воспоминаний.

Люль не принадлежала к числу их, и еще больше не была тем, что мы находим без радости и без сожаления теряем. С самой первой поры нашего взаимного сближения, узнавания и открывания, она заставила меня прислушиваться к ней и никогда не потерять любопытства. В ней все было внешне просто, и все было свое. Остальные, почти без исключения, принадлежали к большинству, которое было избито, серийно, серо. Публика бесцеремонная с дешевыми, обленившимися душами, самодовольная, скучная и неумная, для которой все очень просто, понятно и легко. Ни от кого, кроме Люль, на меня не веяло свежестью, вспоминающейся мне теперь лучше всего в ранних летних утрах и только что сорванных цветах, ни с кем я не бывал в иные минуты в такой же тихой торжественности, какая таится в черных усыпанных звездами ночах, — которые так любила Люль, — ни в ком я не чувствовал той беспрестанной внутренней работы, которая не позволяет скучать, ощущать бедность в душевном хозяйстве и от которой даже повседневные, часто совершенно незначительные, мелочи становятся дорогими безделушками. Капризы Люль, ее насмешливость, которых не могло не быть, потому что Люль не могла не выбирать и не высмеивать смешное, меня не оттолкнули. За этими капризами и насмешками было то, к чему я часто шел под защиту.

Теперь мне многое безразлично, а было время, и я был злым и непримиримым. И когда я, злой и одинокий в своей правде, приходил к Люль и, отвечая на ее заботливые расспросы о причине моей злости, рассказывал ей все то, что меня угнетало, — как просто и хорошо умела она успокаивать, примирять, или, нет: — она учила меня быть добрым и терпимым. Я не знаю, может быть, разгадка той тишины и счастья, которые тогда спускались на меня, заключались в интонациях ее голоса, в том, что именно в ней одной, Люль,

я мог найти. Я не помню слов, которые она мне тогда говорила и не в словах конечно, здесь дело, — одва ли ими можно было утешиться. Важно было другое: она дарила меня сознанием, что я не одинок, что у меня действительно есть подруга-союзник во всем, есть она, та, такая, для которой на многое стоит согласиться. Так было всегда, даже в то время, когда она уходила, отдалялась от меня. Об этом после, а сейчас о второй встрече с нею.

9.

Я говорил, что прошло много дней прежде чем я ее увидел вновь. Ко времени нашей второй встречи, мне успели наскучить все, с кем меня познакомил Рип. Я старался меньше выходить на улицу, но тоска ли по Люль, молодая ли и нетерпеливая кровь, были сильнее меня. Они заставляли меня общаться, искать и желать заполнить то бездонное, что открылось во мне с тех пор, как я увидел Люль.

Стояли жаркие и тихие осенние дни. Два моих знакомых и я лежали на берегу реки, под широко и низко раскинувшимся деревом. Около воды сидел старик с удочками. Один из моих знакомых спал, другой лениво грыз склонившуюся до земли ветку. Так, каждый занятый по-своему, мы провели много времени. Мимо пронесся велосипедист. Оставив ветку, мой знакомый лаем разбудил спавшего и привел в ярость старика. Тот долго бранил нас, что мы нарушаем необходимую для него тишину, и своим криком нарушал ее еще больше. Мои знакомые погнались за велосипедом, и эта погоня была настолько бессмысленной, что совсем не соблазнила меня. Я даже орбадовался, что

остался один и, поднявшись на дорогу, направился в другую сторону. Но мои знакомые скоро меня догнали и были в восторге от пережитого приключения. У меня была тоска, они мне надоели и я молчал. Вероятно, это казалось оскорбительным. Один из них не выдержал и сказал другому:

— Джим, конечно, равнодушен к тому, что всех занимает. Не понимаю, какой смысл лишать себя удовольствия. Впрочем я сомневаюсь, чтобы он вообще мог на кого-нибудь броситься.

Мне захотелось попробовать мои клыки, но, к счастью, я сдержался. Произошла бы основательная потасовка, а всего через две минуты... Я сдержался и ответил вопросом:

— Чем вам помешал велосипед?

— Он не помешал. Но разве не удовольствие погнаться, напугать?

— Не понимаю...

— Вы не спортивны.

— Пугать велосепидистов — спорт?

— Вы отсталый. Современность требует...

Он не договорил. Из-за поворота показался автомобиль. Он был запылен, и я не успел рассмотреть его окраску. Я заметил лишь блестевшие на солнце фонари и металлическую полоску перед колесами. Мы отбежали в сторону. Моих спутников опять захватил «спортивный» припадок, а я, я стоял и не знал, что делать: бежать ли куда, кинуться ли тут же под колеса. Из автомобиля молча, внимательно и чуть прищурясь, на меня смотрела Люль.

10.

Мои спутники погнались за автомобилем, я, сокращая все дороги, помчался домой. Да! Сомнений не было — голубой автомобиль, запыленный и грязный, стоял у ворот их дома. Я не знал, что делать. Ждать долго я не мог. Вскоре должен был проснуться господин и мое место было около него. Я не увидел тогда Люль и не мог объяснить ей ничего. Радуясь, что Люль вернулась, боясь, что она не захочет даже говорить со мною, увидев меня в компании, в которой я был, как провел я весь этот день и спал ли я в следующую ночь, или и днем и ночью был как во сне, я не помню. Да, конечно, я спал, но почему-то не на обычном месте, под столом, около ног господина, а на террасе. Во всяком случае, там я проснулся. Я припоминаю, кажется, все было так: когда на другой день солнце поднялось совсем высоко, я еще раз выбежал на улицу. Был ранний час, и в доме, где жила Люль, жизнь еще не начиналась. Вернувшись, я сел на террасе. Осеннее солнце пригревало ласково и печально. Я лег, положил голову на лапы, закрыл глаза. «Люль здесь, вернулась....» счастливо дрожало и замирало во мне, а ее презрительно-прищуренные глаза, которые я вижу и сейчас, заставляли меня в то утро чувствовать себя без вины, но определенно виноватым, и ждать наказания.

11.

— ... безобразничать на большой дороге, водить дружбу с хулиганами... и это после воспитания у мосье Манье и во время службы господину?... Чтобы этого

больше не было! Джим! Слышите?... Я не хочу вас таким.

Как я мог не услышать, не почувствовать сквозь сон, что Люль пришла, поднялась на террасу. Я вскочил, и это оно, счастье, свалившееся на меня такой огромной лавиной, это оно сделало так, что я не мог владеть чувством, которое тогда меня охватило. Волен ли я был в те минуты в своих словах, движениях? То, что тогда происходило со мной, было больше всего этого.

— ...ну, конечно, конечно, я не сержусь, конечно, — мир и дружба — вы видите, я пришла первая... Я помню мягкое сопротивление Люль, помню, как она, смеясь, отстраняла меня, отворачивалась, приказывала вести себя как следует. Но и она была взволнована. Она говорила:

— ... я почувствовала здесь ошибку и свою вину. Я верю вам и себе. Мы должны быть вместе. Мой план такой...

С предусмотрительной заботливостью Люль распределила время наших встреч.

Когда из комнаты послышался кашель проснувшегося господина, Люль убежала, не позволив мне быть неточным в исполнении моего долга. Не знаю, как выразить все, что творилось у меня на душе, я бросился в комнату, без разрешения прыгнул на диван и, опершись лапами о плечи одевавшегося господина, лизнул его щеку и нос так, как не лизал никогда. Я получил выговор, но это не показалось мне большой бедой.

Начались счастливейшие дни в моей жизни.

12.

Вероятно и мне не удастся избежать слащавости в описании далеких дней моего счастья. Но у меня есть сомнительное утешение. В моем прошлом не все было сладко.

Я не помню, где и когда я слышал: «о несчастьях тяжело вспоминать, но они помнятся лучше, чем что-нибудь счастливое». И в самом деле, какими словами можно передать то, что мы испытываем, когда рядом с нами бьется милое нам сердце, и бьется, и стучит оно в нашу жизнь, и чем сильнее этот стук, тем счастья больше. Отдельные слова Люль, обращения ко мне, ее гримаски, намеренно-преувеличенный и комично-сокрушнный вздох над какой-нибудь моей, чаще всего вымышленной, оплошностью, взгляд ласково-сердитый, внимательный и, иногда, насмешливо-лукавый, но в котором всегда, в самые заразительно-веселые минуты, была точно какая-то печаль, как след или предчувствие чего-то бесконечно-грустного, то или другое ее легкое и изящное движение, и нежность, все обвевающая нежность, — вот на что я мог бы указать, привести несколько примеров в каждом случае, отлично зная, что это никому ничего не скажет. Так, вероятно, нужно, что мы не умеем объяснить этот посылаемый иногда судьбой подарок, который вцветает в наши будни и который мы принимаем и бережем, как редкий отдых и самое высокое наслаждение, как залог того, что и здесь на земле с нами может быть хорошее.

Я говорил, что я был злой, а Люль добрая. Мнение наших знакомых было иное, но оно едва ли было правильным. Они не знали и не любили Люль, — а что можно знать без любви? Это были большей частью ее сверстницы, более милостивые ко мне, чем к Люль, с которыми она сама, к моему большому удовольствию,

никогда не переходила черту спокойных, добрых, но ничем не обязывающих отношений. Дружна она не могла и не хотела быть ни с кем. Такие вещи не прощаются и мне, за мое невнимание и нежелание бывать с кем-нибудь, кроме Люль, приходилось не раз выслушивать, что я слишком переценил свою подругу и когда-нибудь за это буду наказан. Я наказан, Люль у меня отнята, и все осталось, как было. Люль была добра и справедлива по-настоящему и за ее внешним холодком билось нехолодное сердце. Она не терпела притворно-глубоких переживаний, но подлинная радость или горе вызывали в ней сочувствие и понимание, какие не часто встречаются. Не дружа ни с кем из подруг, она ни одной из них не сторонилась и требовала того же от меня. Я повиновался ее желаниям, но из этого выходило мало хорошего. Правда, Люль бывала довольна мною, когда нам приходилось встречаться с той же Фолэтт или Мирзой, но как только мы оставались вдвоем, я немедленно переходил в лучшее состояние, чем вызывал новые упреки:

— Джим! Ты не умеешь жить и никогда не будешь счастливым. Пока мы вместе — все хорошо: у нас будет неплохо и нескучно. Но кто знает, что впереди? Ты должен быть готовым к компромису. Пожалуйста, не спорь. Я знаю, что ты идешь на него уже и теперь, но ведь я вижу: ты делаешь это только для меня. Мы воспитаны и обязаны быть неискренними, а ты злишься и еле сдерживаешься. Так нельзя, ты очень трудный.

Люль была права. Ей часто бывало нелегко со мной. Я избалован, конечно, и это она, Люль, избаловала меня, она сделала так, что всякая фальшь, поза, разговоры о неудовлетворенности, мечты о «красивой» жизни, мелодраматичность, отсутствие такта и чувства меры вызывали во мне отвращение. Люль это понимала, но понимала и то, что встречи с такими вещами неизбежны и поэтому хотела научить меня снисходи-

тельности и терпению. Так было по отношению к другим, но к себе самой и ко мне Люль всегда оставалась очень требовательной.

И вот такая-то, вся нежная и строгая, она была со мной. Любила ли она меня? Не знаю. Что говорили, обещали, что как-будто бы уже признавали ее ничем невынужденные слова: «у нас будет неплохо и нескучно»?

Люль! Почему без тебя я доживаю свои дни? Почему так страшно все кончилось? Ты хотела быть со мной? У нас было бы «неплохо и нескучно»? У «нас»? Не знаю, не знаю...

13.

Как-то в зимнюю ночь я неожиданно проснулся и почувствовал, что выспался и спать больше не буду. Был я тогда молод, здоров, было просто и спокойно на душе. Рядом со мной были ноги господина и я знал, что близко, за надежным каменным забором, спит Люль.

В комнате было тепло, ночь проходила, как обычно.

Я думал о том, как счастливо сложилась моя жизнь. Люль и господин дополняли друг друга, объясняли, помогали понимать одного через другого. Живя у кого-нибудь не такого, каким был господин, я не сумел бы, не научился ценить прелесть моей подруги, а встретив на своем пути не Люль, не такую, как она, едва ли бы понял наши ночи и одиночество. И откуда-то, я не знаю, и сейчас, как могло мне это представиться в то блаженное для меня время — откуда-то явилась мысль: а что, если я их потеряю, и ее, и его. Мне

стало так страшно, что я вскочил и уткнулся в колени господина. Он наклонился ко мне:

— Что такое, Джим? Отчего ты не спишь? Все в порядке, спи спокойно. Ты увидишь во сне ее, твою подругу. — Он улыбнулся. — Это правда, Джим, ночью, когда темно и никого нет, лучше всего спать и видеть во сне ее.

Он гладил и успокаивал меня, говорил как будто бы со мной, а на самом деле, это был разговор опять с самим собою. Я смотрел ему в глаза и видел, как невесело жил он, только ночью, в тишине и одиночестве, бывая в напряженной и странной близости к той, которую искал мой предшественник. Да, конечно, лишь с такой, как Люль, можно было жить той жизнью, и лишь такая жизнь открывала и обогащала ценностями, заключавшимися в наших подругах. Хорошо ли это, правильно ли, счастье это или несчастье — так любить, так помнить, я не знаю. В такой любви и памяти много печали, многое слишком хрупко и призрачно, но оно незаменимо, в нем единственный выход, единственное спасение, та вторая жизнь, без которой первая ничего не стоит. Что значат все трудности, сопровождающая их иногда боль, если есть то, на чем все можно удержать, не разменять себя, не разувериться и, как в Люль, после ее ужасной и бессмысленной гибели, жить лучами и теплом того волшебного света, который она зажгла во мне?

Сейчас, когда я вспоминаю прошедшее, сравниваю свое чувство с чувствами других, я — повторяю это снова — не вижу ничего исключительного ни в Люль, ни, тем более, в моем отношении к ней. Так же приближаясь ко второй жизни, так же познавая ее, переживали это и другие, те, кому суждено было это переживать. Больше или меньше напора, такое или иное восприятие — вот все различие. Как правда, любовь — одна, и только такая. Но есть еще одна правда, тоже

для всех одинаковая — ее не выдержала Люль. Я расскажу об этом в свое время, а сейчас еще о далеких, счастливых днях и о ней, капризнице и неженке.

14.

Мы были в парке, все шло, как в другие дни, и только Люль захандрила и раскапризничалась почти с самого начала той встречи. Случалось и раньше, что Люль ни с того ни с сего объявляла мне, что я ее совершенно не люблю, что она мне надоела и что я только из непонятного упрямства бываю с ней, а не с другой. Это нелепое предположение меня всегда очень смешило, но, в конце концов, смеялась Люль, потому что мне все-таки приходилось в чем-то оправдываться, что было, конечно, очень смешно и что излечивало Люль от ее хандры. В тот день попытка посмеяться надо мною обернулась для Люль неожиданным образом. У меня была тоска, чувство, которое я узнал, кажется, раньше всего в жизни. Спасением от него была одна Люль, ощущение ее близости. Мы шли тогда молча и Люль заговорила первая.

— Что же мы молчим? Ты очень невеселый сегодня.

Я не знал, что ответить.

— Тебе скучно со мною. Тебе никто не нравится, разонравилась и я.

Понимая всю несерьезность этих слов, я решил в тот раз выслушать до конца и не прерывал потока придуманно-жалких выражений. Люль не унималась.

— Я думала: правда, Джим любит меня так, как я хочу, поверила... — и, деланно-горько усмехнувшись, добавила: — а Джим такой же, как и все.

— Ты ошиблась, Люль. Джим хуже всех, — в тон ей ответил я, — но не горюй, тебя всегда утешит кто-нибудь другой.

— И правда. А ты будешь с Фоллэт, я никогда не верила, что она тебе не нравится.

Эта допущенная нами глупая болтовня кончилась бы без сомнения, как и все предыдущие в таком роде, и в конце концов, Люль опять заставила бы меня оправдываться в грехах, которые я не собирался совершать, если бы в ту минуту к нам не подошли Фоллэт и ее новый друг, один из тех, кого Люль особенно не терпела. Вслед за едва заметной и, вероятно, непроизвольной гримасой, что-то, как озорство, блеснуло в ней.

— Вот, кстати, — весело обратилась она к подруге, — Джим по тебе страшно соскучился, поговори с ним. Мы не будем им мешать, не правда ли? — и она ушла со спутником Фоллетт.

Меня нисколько не рассердил этот поступок Люль, но я решительно не знал, чем занимать мою неожиданную собеседницу и поэтому не я, а Фоллэт, несколько удивленная всем происшедшим, первая завела разговор. Тема была старая.

— Джим! Вы, может быть, все еще считаете нас улицей, но ведь и улица... — и тянулась старая неправда о неудовлетворенности и пустоте. К ней, может быть, стоило бы прислушаться, если бы я слишком хорошо не знал, что это только слова, тема для разговора, что той же Фоллэт никто не мешает уйти от неудовлетворявшей ее жизни в другую, более интересную, и если бы я уже в то время не видел, как улица, даже в страдании, остается верной самой себе. Вернувшаяся очень скоро Люль прервала, к счастью, эти излияния. Мы снова остались с ней вдвоем и она заговорила сердито и, на этот раз, с непритворной жалобой.

— Ты не имел права отпускать меня с такими. Я не обязана выслушивать то, чем восхищается Фоллэт. «Вы изумительная, чуткая» «обожаю» —, — скажите, пожалуйста... — какая честь... Какой он дурак, или за каких дур считает нас. Быть с такими... Джим! ты понимаешь, какая это мерзость, как неприятно, нехорошо... — еще немного бы и со слезами на глазах, — жаловалась мне чуть уколовшаяся, но уже оскорбленная в своей нежности, сама вся — нежность — Люль.

15.

Так прошло больше двух лет, такой была моя подруга.

Было около полудня, и я только что вернулся из парка. Господин еще спал. Был конец августа и дверь на террасу оставалась всегда открытой. С моего обычного места под столом я услышал, как где-то близко на улице внезапно оборвался шум проезжавшего автомобиля и вслед за тем стукнула наша калитка. То не был час почтальона и я выбежал на террасу. Загорелый, высокий и плотный господин решительно поднимался по ступенькам. Прежде чем я успел залаять, он весело улыбнулся и сказал: «А, Джим! Ну, здравствуй, здравствуй! Иди, поднимай твоего хозяина». Меня удивило, что он знал мое имя и наши порядки. «Все по написанному, тебя можно найти без проводников», говорил он, смеясь и обнимаясь с проснувшимся господином. Я разглядывал и обнюхивал его. От него пахло сладким табаком и морем. Он был красивый, сильный, жизнерадостный человек с веселыми и смелыми глазами, со спокойной и какой-то очень счастливой удовлетворенностью в голосе и движениях. У него были большие

мягкие руки и когда он гладил меня, я почувствовал, что он искренний, добрый, и быть около него легко и приятно. Мы остались с ним вдвоем и, ожидая господина, он рассматривал комнату. Встретившись с портретом девушки, он слегка пожал плечами, улыбнулся и сказал мне: «Он все-таки большой чудак, твой хозяин». Господин вернулся еще с полотенцем в руках, непривычно оживленный и обрадованный. Начался тот беспорядочный разговор, который неизбежен после продолжительной разлуки. Их разделили десять лет, различно прошедшие у каждого. Дружба тянулась почти с детства.

16.

«Чем дальше уходит в прошлое юность, тем прекраснее она кажется». В первый же вечер, делясь воспоминаниями, господин и его друг точно отправились путешествовать в их шестнадцать-восемнадцать лет, и эти годы были в тот час для них общим дорогим краем, с грустью и лаской напомнившим им о себе. Снова живя в тех днях, гость вспомнил со снисходительной улыбкой о чьих-то локонах, черных глазах и о вечерах на берегу моря.

— Мы были все вместе, — сказал он и скользнул взглядом по портрету, — я тебе писал: моя давно замужем, дети, все очень хорошо. А твоя?... Ты все еще ничего не знаешь?

Господин отрицательно повел головой.

— Да, странно, — продолжал друг, — я тоже наводил справки. Но, кажется, существуют бюро, наконец газетные объявления. Почему ты не хочешь искать таким путем?

— Для этого нужно основание.
— Но у тебя...
— Никакого.
— Пятнадцать лет внимания и «Свидание Джима», — этого недостаточно?... Что нужно еще?
— Ее желание.
— Кто знает, может быть, есть и оно. Ты должен считаться с женской гордостью.
— Я не должен быть навязчивым, и дело идет о большем, чем ее или моя гордость. Книга Джима — единственно-возможные поиски и вопрос: нужно или ненужно нам быть вместе.
— Тебе — нужно?
— Не знаю. Конечно, да.
— Чего ты не знаешь и почему это «конечно»?
— Мы расстались, не простясь. Тогда всякое прощание было ненужно и смешно. Ты отлично знаешь атмосферу, круг ее знакомых того времени.
— Если ей было хорошо там, почему ты...
— Потому, что все это не сделало ее счастливой. Ее влекло туда, но она принимала это не как счастье. Если было бы иначе, помнить было бы не о чем.
— Но ведь не будет ничего удивительного, если в ней кое-что огрубело, кое к чему она привыкла. Откуда у тебя такая уверенность?
— Я не знаю, поймешь ли ты: я начал писать рассказ Джима, думая что это будет мое последнее свидание с нею, я не знал тогда, что она сможет вернуться, хотя бы в рассказе; не знал, кто она, а когда книга была закончена и возвращение в ней произошло помимо моей воли, я понял, что госпожа Джима есть то, что мне нужно.
— Великолепно. Но твой Джим — мечтатель. Ты-то сам, почему ты думаешь, что она теперь такая?
— Потому что ничего другого быть не может. То, что я увидел в ней отсюда, через десять лет, и что вер-

нуло ее в рассказе Джима, должно сделать ее такой.

— Ну, а если, представь себе, она все-таки не такая, а твоя книга ее находит?

— Потому-то книга и есть единственно-возможные поиски, — она скажет ей меньше, чем газетное объявление, если Джим ошибется, найдет не то.

— А если не ошибется?

— С ним будет его госпожа.

17.

Итак, вот в чем было дело. Вот, вероятно, почему в нашей жизни было что-то, что мне вспомнилось последней осенью на берегу моря. Там был утес, свесившийся над водой. Бывали бури, о тот утес бились волны, а он, склоняясь над ними, как будто бы вслушивался, всматривался в их смутную игру. Сколько раз, сколько ночей прошло предо мною, когда одиночество, тоска и тревога заставляли господина так же внимательно всматриваться в портрет, видеть за ним, так же спрашивать у него и ждать, — и сколько надежды, горечи не одной только разлуки, сколько сомнения и радостной уверенности бывало в тех безмолвных разговорах между ним и его прошлым. Все это было неизвестно и совершенно чуждо приехавшему другу и поэтому, вероятно, я слышал такие слова:

— ... это, может быть, поэтично, но очень похоже на алхимию. Ты хочешь обыкновенную железную жизнь превратить в золотую. А все люди приблизительно одни и те же. Ничего, кроме успеха, денег, покоя и здоровия им не нужно. Ты знаешь это не хуже меня, но почему-то загоняешь себя в тупик. Твоя книга, поиски, ожидание — деланные, они не жизнь. Тебе

нужно чаще бывать с людьми, ухаживать за женщинами, влюбляться, жить, как все, и тебе станет легче. Мало ли что было у каждого из нас, когда мы кружились около наших двадцати лет.

Его энергичный тон и легкость заражали. Мне казалось минутами, что наша жизнь, в самом деле, вымышлена и ненужно усложнена. Теперь в этих словах я слышу лишь невнимательность и прекраснодушие, вызванное собственным благополучием. Чужая печаль всегда легко поправима, весеннее ненастье — ненадолго, и горечь ранней потери может ли быть продолжительной? — «Зачем же, — говорил друг, — через столько лет тянуться к тому, чего, может быть, больше не существует?» Этот друг не знал, что господин через свою юную подругу прикоснулся ко все еще манившему его миру, что повториться с другой это, очевидно, не могло, и наше одиночество было необходимо. В нем, уйдя от обычной жизни, приняв всю прошлую боль, господин берег в нерастраченной нежности следы светлого прикосновения и никогда не был одинок. Ночная и неподвижная тишина, в которой вместе с тихо шелестевшими листами бумаги, как будто бы так же тихо шелестели минуты за минутами нашей необычной жизни втроем — портрета, господина, и моей — и в которую девушка, казалось, сходила к нам со стены, была, пусть, по-странному, но полна такого напряжения, счастья, такой удовлетворенности, что исчезала всякая тяжесть, ничего другого было не нужно, и у меня в те ночи не раз было чувство, что я слышу точно какую-то музыку.

18.

Дни, которые прожил у нас гость, не изменились в своем распределении времени. Иногда, вечерами, господин и его друг уезжали в Париж. Они возвращались всегда очень поздно, и гость почти тотчас же ложился спать, а господин, как всегда, оставался за столом.

Было около полудня, и я возвращался со свидания с Люль. В калитке меня встретил и позвал с собой наш гость. Он вышел бросить письмо в почтовый ящик. Когда мы возвращались, я увидел издали, как из ворот, за которыми жила Люль, выехал и повернул нам навстречу голубой автомобиль. За рулем сидела та же красивая женщина. Когда она проезжала мимо нас, друг господина взглянул на нее и остановился, провожая глазами. Замедляя ход автомобиля, так же не отрываясь, смотрела на него хозяйка Люль. Одновременно, оба рассмеявшись, она — остановила машину, он — почти подбежал к ней.

— Это так хорошо, что я боюсь верить и теперь, — начал он без всякой, впрочем, неуверенности, — это действительно вы?... осень позапрошлого года, Остендэ, пляж?

Впервые я смотрел вблизи на хозяйку Люль. Ее лицо, шея, были очень хороши. Друг господина откровенно наслаждался встречей и беседой. Шел оживленный разговор давно знакомых и приятных друг другу людей.

— ... да, да, это тот самый мой друг, книжка которого вас тогда так сильно рассмешила и о котором я вам рассказывал. Было бы, право, очень мило с вашей стороны помочь мне встряхнуть его. К сожалению, я не могу заняться им, я тороплюсь к жене, но нужно, не правда ли, чтобы он ушел из своего сна... — говорил наш гость, после рассказа о том, почему он очутился

в парижском предместии и какую жизнь застал у нас. На лице женщины было любопытство.

— Я не могу представить себе того, что вы мне рассказали. Это почти фантастично, но, вероятно, интересно. Приходите сегодня же вечером вдвоем с ним.

19.

Я ничего не мог определить по лицу господина, когда они вернулись домой в тот вечер. Пожалуй, оно было немного более усталым, чем всегда. Друг был возбужден и весел.

— Я очень рад за тебя, — говорил он, — это одна из самых прелестных женщин, каких я встречал. На твое счастье, она свободна и, кажется, скучает. Разведенные жены лучшее лекарство для таких, как ты. Ты был довольно скуп на слова, но получилось больше, чем я ожидал, — она была внимательна к тебе не из одной вежливости.

— Она очень мила, но из этого ничего не следует.

— Во всяком случае, ты приглашен бывать. Почему ты прячешься?

— Нисколько, но у меня и без нее много ненужных встреч.

— Встречи с ней могут стать нужными.

— Сейчас для меня в этом нет необходимости.

Друг господина чрез два дня уехал.

20.

В том году осень затянулась и была сухой и теплой. Медленно остывал октябрь. Пришел день, когда на парижские кладбища везут букеты хризантем и астр. В этих цветах с их нежным и горьковатым запахом, в очаровании хрупкой прелести парижанок, подчеркнуто изящных трауром туалета, было больше прекрасного, чем печали. Но как бы для того, чтобы и цветы, и женщины казались только искусственным и непрочным украшением, а этот день был еще грустнее, над Парижем, с раннего утра, нависли серые тяжелые облака, по временам моросил дождь и было холодно.

Мы были в Париже и в сумерки проходили мимо кладбища. Из ворот выходили последние посетители. Их тотчас же захватывала уличная сутолока с ее беспорядочным шумом и почти по-зимнему лихорадочной поспешностью. Фонари еще не горели, и городской ненастный вечер все больше погружался во мрак... И сквозь этот мрак, ненастье и печаль того дня, мы услышали позади себя голос хозяйки Люль. Все такая же красивая, ласково-укорявшая господина в рассеянности и невнимании к самым близким соседям, она, казалось всем, чем только могла, от своего внешнего очарования до смысла сказанных ею тогда слов, старалась напомнить, что и в такой день на земле не только печаль и память об ушедших. Они прошли в маленькую улицу и долго разговаривали около автомобиля, который она здесь оставила. Это была их первая встреча, которую я мог наблюдать, и я видел, как бесплодно разбивалось стремление женщины привлечь к себе. Звук голоса, улыбка, взгляд были расточены в тот день напрасно. Не замечая, и не желая ничего замечать, господин безразлично-вежливо отвечал на вопросы, спрашивал о вещах, которые едва ли его интересовали и

ничем не показал, что и он тоже сколько-нибудь обрадован этой встречей.

21.

Мы снова увиделись с хозяйкой Люль, когда кончалась зима. Это было так же неожиданно, как и в ноябрьский вечер. Мы вышли, чтобы направиться в Париж и недалеко от нашего дома нас догнал голубой автомобиль. Вероятно, хозяйка Люль заметила нас издали, потому что она затормозила около самого троттуара. Снова, еще более ласково, она стала упрекать господина за нежелание навестить ее. Что-то в самом деле обиженное, чему все труднее становилось прятаться, слышалось тогда в ее словах. Господин не мог этого не заметить, был удивлен и чувствовал неловкость. Он согласился на ее предложение подвезти его туда, куда он должен был ехать и потом так же легко уступил просьбе сопровождать хозяйку Люль в довольно далекую окрестность.

Мы неслись по пустынной загородной дороге, и я помню, как в те секунды, когда я мог видеть лицо этой женщины, я встречал на нем выражение удовлетворенности и почти счастья. Все увеличивая скорость, тверже и точнее управляя рулем, внимательно вглядываясь в дорогу, все чаще чувствуя на себе пристальный и иногда восхищенный взгляд господина, она хорошела от напряжения и сознания, что лед, столько времени не поддававшийся, наконец сломлен.

Мы вернулись в наше предместье, когда было совсем темно, и хозяйка Люль сказала, смеясь и чувствуя, что теперь она имеет право так говорить:

— Я беру вас в плен. Будем обедать, а потом вы

мне расскажете о вашем друге. Я знакома с ним давно, но знаю его мало, а он очень милый, не правда ли? Не стесняйтесь, что вы не одеты для визита. Кроме моего отца, никого не будет. А потом: я страшно устала за рулем, и вы за прогулку должны довести меня до моей комнаты.

22.

Мы вошли в их дом и с первого шага на меня пахнуло незнакомой жизнью. Несколько излишне нарядная, она была очень далека от нас. После обеда мы перешли в комнату хозяйки Люль. Запах духов, мебель, безделушки, продуманное и тонкое кокетство домашнего туалета, несколько книг в сафьяновых переплетах, как бы случайно и небрежно, но очень красиво раскинутых на нижней полке этажерки, создавали странное впечатление изящного легкомыслия, большого вкуса и какого-то только поверхностного украшения. И здесь, в своей, привычной обстановке, в разговорах, которые были там в тот вечер, в непритворной внимательности, обаяние молодой, ставшей еще более привлекательной в комнатном уюте женщины, заставило господина присмотреться к ней, с чем-то согласиться и тогда же сдать свои первые позиции.

23.

Я не знаю, как передать то новое в нашей тишине, что я почувствовал в те дни. Но оно было несомненно. К ожиданию, тоске, ко всем прежним чувствам господина прибавилось еще одно, по-началу слабое и не-

уверенное и, в то же время, неотступное. Внешне все шло как раньше: такие же ночи, замкнутость, спокойствие. Но, вот, именно тогда, в одной из бесед господина с портретом девушки, мелькнуло то, что было, как страх ничего не дождаться, никогда не уйти от одиночества, как примирение с невозможностью одного счастья и признание возможности другого. Я помню, как потом, после этого разговора, господин читал книгу. Шелест листов слышался реже обыкновенного. Что-то мешало ему читать.

24.

Приближалась весна. Моложе вставало солнце, шалый ветерок все чаще приносил тепло. Все приготовлялось к тому, чтобы по какому-то сигналу проснуться, ожить, вырваться из последних слабеющих усилий холода. Новое, все более крепнувшее в господине чувство говорило мне, что та весна для нас не будет, как прежние. И в самом деле, когда весна пришла и исчезли последние сомнения, когда все распустилось, расцвело и весело зашумело, сердце господина неудержимо потянулось к живому и теплому счастью, которое и само шло к нему навстречу.

Теплым пахучим вечером, возвращаясь из Парижа, на темной от распустившихся каштанов улице мы встретились с хозяйкой Люль. Она засмеялась так счастливо и так весело объявила — будто бы это была какая-то необыкновенная удача, — что автомобиль в починке, что оставаться в комнатах в такой вечер нельзя никак и что это, конечно, судьба позаботилась о том, чтобы прогулка не была одинокой. Я не знаю, встречался ли господин с хозяйкой Люль после того,

как мы были в их доме, но я помню хорошо, как и его охватило радостное оживление в те майские сумерки. Я не слишал его слов, потому что мы с Люль ушли далеко вперед. Было тепло, из садов доносился запах сирени и глициний, где-то далеко громыхал и изредка позванивал трамвай.

Мы долго ходили по широким, уснувшим в зелени улицам, и был поздний час, когда, приближаясь к дому, хозяйка Люль говорила:

— ... вы знаете, вероятно, что я слышала о вас давно. Этой зимой я перечитала еще раз рассказ вашего Джима. Я не понимаю его. Почему вы в той книге так убеждены, что попытка жить в такой же любви с другой обречена на неудачу. Ведь вы же сами повторяете там несколько раз, что та, первая, была проста, что ничего особенного в ней не было. Почему же после этого к другим такое недоверие? Простите, но я знаю больше: эти слова не из пережитого вами, это было ваше предположение, но оно могло быть и ошибочным, как всякое. Так может случиться, не правда ли? Вы этого не отрицаете? Тогда зачем же сторониться, избегать встреч, быть холодно любезным и великолепно не замечать, кто и о чем хочет с вами говорить? Разве не так было в ноябре у кладбища и всю эту зиму до конца февраля? Вы начали оттаивать только с тех пор...

В тоне слов было подкупающе-задушевное и, вероятно, они были вполне естественными после того, что было сказано до них. Не удивлением, не растерянностью отвечал господин на это почти откровенное признание. Он как будто бы все еще не соглашался, не верил и боялся ошибиться. Но чем взволнованнее и горячее лились слова, тем несогласия и боязни становилось меньше, появлялась готовность признать себя неправым и надежда на новое счастье разгоралась силь-

нее. Оно, это счастье, было хорошо собою, давалось без труда и не сулило ничего тяжелого.

Хозяйка Люль и господин, не произнесшие в этот вечер решающих слов, но такие близкие в их будущей любви, прощались, — до следующего лишь утра, — долго, нежно, и долго не могли проститься.

25.

То была неспокойная для него и для меня ночь. Подошедшее вплотную чувство не позволяло господину быть прежним а мне, сколько я ни старался представить себе, что вот, значит, и к нам пришла наконец живая и теплая радость, мне в эту радость не верилось. Так было потому, что и в ту ночь, когда недавняя встреча с хозяйкой Люль казалась столь значительной и не могла, как будто бы, не увести от прошлого, господин все-таки, через каких-нибудь несколько часов после того свидания, был ближе к первой подруге, которую он так давно не видел. Ему плохо работалось, он много раз то подходил к портрету, то останавливался у окна, всматриваясь в ночную тьму. Он не мог не знать, что близко в этой тьме, может быть, тоже не спала молодая, красивая женщина, более чем он тянувшаяся к их общей, нужной им обоим близости. Но тишина, одиночество, сердце, которому всегда нужно было только одно, не отпускали. И как тогда, в ту ночь, я не сомневаюсь и теперь, что если бы после всего, что было и перед тем, что должно было совершиться, появилась бы какая-нибудь надежда, признак, что наше ожидание не было напрасным, все было бы тотчас же кончено между господином и не той, которую он ждал.

26.

Наступал вечер и я оставался один. Люль, ее хозяйка и мой господин уехали. Это случилось после полудня, ножиданно для меня. Господин позвал женщину, смотревшую за нашим хозяйством и сказал ей, что он уезжает. Из его слов я понял, что я не увижу его раньше осени. Он взял с собой самое необходимое и ушел. Все как бы оборвалось и весь тот день я не мог найти себе места. Увидеть Люль мне не удалось, никого из моих знакомых я не хотел видеть. Я долго сидел на террасе, вспоминал, хотел разобраться, осуждаю ли я господина. Я не осуждаю его и теперь. Все, что тогда происходило, была та самая возможность, которую он предвидел в книге моего предшественника. Но теперь это было не предположние, наши прежние жизнь и тишина были действительно нарушены, и мне было тяжело. Стало темнеть, и я ушел в комнаты. В неподвижной, словно остановившейся тишине, сквозь комнатный мрак, я увидел еще светлевшее пятно портрета. Я лег под ним, около стены. Начиналась моя первая одинокая ночь. Я завыл.

27.

Господин где-то далеко переживал новое счастье, я узнавал тоску, тревогу и одиночество. Меня, конечно, не случайно забыли или не захотели взять с собой. Я стал лишним, мир любви, который захватил и меня, рассыпался и, как мне тогда казалось, исчез совершенно. Я был до того времени достаточно избалован благополучием и не умел спокойно относиться к потерям. Но мне не верилось и в то, что заменило господину его

прежнюю жизнь. Я знал, что не такая, как хозяйка Люль, могла бы так же войти, так ж заполнить собой, как это делала девушка. Может быть, более ярко, но горел не тот огонь, все было не то, над чем стоит останавливаться. В большей или меньшей степени, так или иначе, предо мною прошло много таких же случаев и мне было бы, вероятно, так же нечего рассказывать, как если бы я тогда не расставался с господином. Я видел лишь начало его новой любви и оно поселило во мне не счастье, не покой и не доверие, но тревогу. Я ошибся в тот раз. Все завершилось лучше, чем я мог желать. Тревожиться мне должно было о другом. Не господину, а нам с Люль, принесло вслед за разлукой несчастье то лето.

28.

Старая правда: нужно потерять, чтобы оценить потерянное. Два года близости с Люль меня избаловали. Новая разлука, непохожая на предыдущие, после которых мы встречались при тех же условиях и в той же обстановке, не позволяла мне чувствовать уверенность, как я ее чувствовал раньше. Прежние разлуки — время отдыха господина или хозяйки Люль на курортах — были для меня невеселыми, но это была слабость, потому что у меня не было повода думать, что я покинут моей подругой, и господин был всегда со мной. Теперь я не знал, когда увижу Люль, и был совсем один. Встречаться мне было не с кем и незачем. Чаще всего я лежал под портретом, вспоминал, делал то или иное предположение о своем будущем. Все было очень неясно. Ясно было лишь одно: кроме Люль, у меня нет и не может быть никого. Мне вскоре пришлось проверить прочность этой моей защиты.

29.

Что произошло и почему все окончилось так скоро между хозяйкой Люль и моим господином, я не узнал никогда. Они вернулись не вместе: господин в августе, она — в ноябре. Они встречались изредка и потом, как добрые знакомые и как совершенно чужие. Много спустя, господин говорил другу: «... было ее любопытство и моя излишняя доверчивость. Мы оказались разными во всем и не хотели измениться. Поэтому: она очень скоро устала быть со мной, а я — потерял интерес к таким...» — он замолчал, подыскивая слово — «...ну, приключениям, если хочешь» — закончил он с пренебрежительной усмешкой. Эти слова были одними из немногих, объясняющих его возвращение.

Он вернулся ранним утром. Я был в саду и увидел его в калитке. Почувствовав, что он снова мой, я бросился к нему. Он был немного похудевшим, грустным и, по-старому, спокойным. «Ты прав, Джим, ничего другого у нас не может быть. Нам труднее, но стоит вынести все» — сказал он мне в те дни. Жизнь пошла, как прежде. Лишь Люль не было.

30.

Тянулись мои пустые дни. Вернувшийся к первой подруге господин вернул мне нашу ночную тишину. В ней я готовился к встрече с Люль. День, который я ждал с нетерпением, наконец пришел.

Я был в отдаленной части парка. Ко мне подошел Рип: «Люль здесь. Иди!» Мы пошли с ним и на широкой аллее вдали я увидел группу: Люль, Фоллэт и с ними два или три незнакомых мне спутника, с которыми они оживленно разговаривали. Я подошел.

— Здравствуй! Давно тебя не видела! — сказала Люль и, отвернувшись, продолжала разговор. Я шел рядом с ней и чувствовал себя лишним. Все внимание Люль было подчеркнуто обращено к ее новым знакомым. Она дружески льнула к Фоллэт, и была вся другая, непохожая на ту, какой я ее привык видеть. В глазах, в редких встречах с моим взглядом, мелькало чужое и вызывающее. Через несколько минут я стал прощаться. Люль холодно-удивленно проговорила:

— Так скоро? У тебя еще много свободного времени. Ну, как хочешь. Надеюсь, завтра увидимся?

Я простился, ушел. На другой аллее я встретил Мирзу и Рипа и провел с ними около часу. Мы выходили из парка вдвоем с Мирзой, Рип задержался и, догоняя нас, шел позади. Недалеко от ворот, мы увидели Люль и остальных. Мне было тяжело, я смотрел в другую сторону.

— Каким взглядом проводила тебя Люль! — сказал догнавший нас Рип.

31.

Ночью, когда я у ног господина не спал, конечно, я находился, как и весь тот день, — но не как когда-то, — в тяжелом оцепенении, я задавал себе вопрос, на который не мог и не знал, что ответить: что же произошло, почему за пять минут разговора я успел убедиться, что Люль за пять месяцев разлуки изменилась настолько, чтобы так далеко уйти от меня. Фоллэт, те спутники, могли быть случайностью, но не случайностью было внимание Люль именно к ним и ее небрежность со мной. То самое, что раньше ее отталкивало, теперь привлекало. В моей подруге проснулось новое,

она входила в другую роль и, нужно сказать правду, входила мастерски. Ее успех был несомненным, — Фоллэт казалась ее ученицей, слабым и неталантливым подражанием.

32.

Следующий день не принес ничего нового. Я встретил Люль в том же окружении и, как накануне, проведя с ней несколько минут, ушел домой. Дня два или три повторялось то же самое. Люль все больше отдалялась, мне становилось все тяжелее. Потом, около двух недель, я совсем не выходил в парк. Встретившаяся как-то Фоллэт восторженно и лживо рассыпалась передо мною в рассказах об очень интересно проведенном времени. Была ничем не прикрытая насмешка, что вот наконец-то я, Джим, тот самый, который не хотел знать никого, кроме Люль, получил заслуженный урок, потому что Люль такая же как все, и хочет быть, как многозначительно заметила мне в тот раз Фоллэт, свободной.

Проходили недели, месяцы, я редко выходил, еще реже видел Люль, но любил ее я не меньше.

33.

Рип говорил о взгляде, которым Люль меня проводила, но что было в этом взгляде, я не знаю. Едва ли ревность. Вероятно — недовольство, что я не захотел остаться около нее, когда она была в той компании. У Люль была настойчивость, умение желать, у

меня — сопротивление и власть над своими желаниями. Люль знала, что я все тот же, она чувствовала это так же, как я ее отдаленность. Мы были правы оба, ни она, ни я лгать не хотели. Наши дороги расходились. Но около меня была возвратившаяся любовь господина, его жизнь как будто бы показывала мне мою будущую судьбу и такие же, как у него, одиночество, память о первой подруге, показались мне тогда лучшим выходом и единственной возможностью сохранить интерес к жизни и, может быть, вернуть отдалившуюся от меня Люль. Недавно ненужный в счастливые дни, занятые любовью к хозяйке Люль, снова необходимый в тишине и воспоминаниях, я сам теперь нуждался в господине, в его силе и умении любить. Боль, которую я тогда испытывал, была им побеждена. Я хотел у него научиться и теперь, мне кажется, научился любить.

34.

В утро, начавшееся как другие, я ждал, когда господин кончит работу. В те дни он, возвратясь к первой подруге и еще более оценив ее, работал с обновленным напряжением. Его снова словно зачаровала и повела за собой та таинственная музыка, которая нисходила на него с портрета. Было позднее утро, когда он усталый и счастливый встал из-за стола и выпустил меня в сад. Я хотел идти в парк и в калитке столкнулся с Люль. Это было так неожиданно, что мы оба растерялись.

— Ты... куда? — натянуто улыбнувшись, спросила меня Люль. Ее голос показался мне глухим и сдавленным.

— В парк, — ответил я, — а ты?

— А я из парка. Тебя там не было эти дни. Я хотела знать: ты здоров, дома, или нашел более интересное место для прогулок? — она снова улыбнулась — Ну, пойдем. С тобой — можно? Я не помешаю? — сказала она с шутливой и грустной иронией. — Только не в парк, не в парк, пожалуйста, — добавила она поспешно и с отвращением.

Мы молча пошли в другом направлении. Каждый раз, когда наши глаза встречались, Люль принуждала себя к улыбке. Что-то искривленное, дергающееся, делало эту улыбку вымученно-жалкой. Было похоже на то, что Люль хотела заплакать, но всеми силами не хотела мне этого показать.

— Они мерзко воспитаны, эти твои Фоллэт и ее знакомые, — сорвалось, наконец, вместе с подавленным всхлипом. — Все вы — мерзкие, грубые, вам всем нужно от нас только одно.

Я не знал, что нужно было ответить на этот незаслуженный упрек. Я почувствовал другое: отвернуться, уйти, ставить какое-либо условие было бы бессмысленно. К Люль вернулось ее прежнее.

Я шел молча, мне казалось: говорить было не нужно.

— Что же ты молчишь, Джим?

— Я не знаю, Люль, что ты хочешь от меня услышать?

Я и в самом деле не знал, что я мог бы сказать. Не задавать же было вопрос, почему случилось так, что я был один эти месяцы, и кончилось ли теперь мое одиночество. Я не сказал ничего, но ближе подошел к Люль, так же как подходил в то время, когда нас ничто не разъединяло. Люль поняла и благодарно посмотрела на меня.

Она пришла в тот раз ко мне, конечно, не с раскаянием и, тем более, не за моим прощением. Ни в том,

ни в другом не было необходимости. Взволнованная и оскорбленная, она почувствовала тогда нужду обратиться к себе, той, какою она была прежде, там искать помощи. Вероятно, это обращение было невозможно, когда она бывала с Фоллэт и новыми знакомыми, понадобились другие отношения, другая близость, я, если я действительно тот, с которым у нее не было лжи и, еще больше, ошибки. Не себя, а меня проверяла Люль на том свидании.

— Джим! Ты должен понять все: я тоже не хочу этого и не могу иначе. Это сильнее нас. Тебе нужно расстаться со мной, полюбить другую. Так должно быть, Джим, ты должен быть счастливым. Но ты... ты нужен и мне. Без тебя... Нет! Так будет, так нужно!...

Люль произносила эти слова, глядя в какую-то видимую ею одною даль, и ее глаза говорили мне, что там, в той дали, для нее, Люль, счастья не было.

35.

Она ушла в тот раз от меня, ушла опять туда же, в парк, к Фоллэт, я встречал ее несколько раз в том же, или подобном окружении. Да! Люль, действительно, не хотела так жить и не могла в те месяцы жить иначе. Ее все там возмущало, и она все принимала почти с радостью. Я не знаю для чего, но Люль часто упрашивала меня не уходить, когда к нам подходили ее новые знакомые. Не желая огорчать ее, я оставался и, помню, совершенно искренно хотел понять, что же привлекало и занимало тогда Люль. Внешность? — нет, не это. Внутренняя значительность? — нет, тем более, — интересного ничего не было. Но что же тогда? Любопытство, жажда новых ощущений, дремавшая ра-

нее и заявившая о себе с такой огромной силой? Может быть — это, не знаю. Но я знаю, что влечение Люль не могло быть остановлено ничем. Успех, повторяю, был в самом деле, очень большой, но еще больше, тяжелее и мучительнее была расплата за измену себе прежней. Сквозь обиду, боль, невозможность и нежелание разлюбить, я ждал, чем кончится эта борьба двух Люль. Не отвернуться, не уйти, но стать еще ближе и внимательнее нужно было для того, чтобы не сделать еще хуже и не потушить в Люль того огня, который был в ней и который и в те дни освещал и согревал нас обоих.

36.

Наши встречи вдвоем в то время были редкими и мучительными. Боль, ревность ощущались тем сильнее, что я не выпускал их на волю и спокойно, просто, как будто бы у нас шло все очень хорошо, говорил с Люль. Я смеялся, шутил и только голос у меня иногда срывался. О, если бы Люль была другой, удовлетворялась бы своей новой жизнью. Было бы тяжело, но уж теперь-то я не жалел бы о потере. Гримаса, исказившая нежный и светлый облик моего счастья, вызывала больше неодумения и страха, чем ревности. Светлые лучи не гасли никогда, их покрывали иногда темные, но свет все-таки оставался. Мое счастье и мучение заключалось в том, что в моей подруге добра было, — может быть, на ее несчастье, — больше, чем зла, и она не могла ужиться с тем, с чем так легко уживаются многие. Поэтому я терпел, молчал, ничем не показывал, как мне тяжело, но голос у меня иногда все-таки срывался. Люль чувствовала это и понимала мое состоя-

ние, но помочь мне, развеселить меня по-настоящему она не могла. Ей и самой было невесело.

37.

Трудные для нас дни продолжались.

— ... как все нехорошо, Джим, — говорила Люль, — я уйду, буду опять только с тобой.

И через минуту она прибавляла:

— Нет! Так нужно, я не могу иначе.

На душе у нее становилось все сложнее.

— Джим! Разве ты мог бы любить меня, если бы я была только такая. Все пройдет, переболит, я приду, вернусь к тебе навсегда. Меня тянет к ним, но теперь я не хочу и не могу потерять тебя. Ты не отвернулся, и я — уйду от них, уйду, — повторяла Люль настойчиво, — а если не хватит сил, — медленно, взвешивая каждое слово, сказала она — я уйду совсем, выход есть всегда.

38.

Что можно было сделать? Эти слова не были игрой или кокетством со смертью. Гибель шла от смутных сбившихся чувств, из которых выхода не было. Оставаться в них Люль не могла тоже. Я понял в те дни, что она дорога мне не только для меня самого и, не думая о своем несчастьи, поступал так, чтобы Люль могла легче и незаметнее перейти в другое более спокойное и счастливое состояние. Я слышал тогда же от мо-

их знакомых об измене, обмане Люль и о моем унижении. Эти разговоры были смешны и неверны. Люль не скрывала от меня ничего, не менялась в своей требовательности, я не знаю, был ли я унижен, если я сам не опускался, и Люль за отдыхом, помощью, и свободой от того что ее влекло и угнетало, обращалась ко мне. Шла борьба, я видел впереди полное возвращение, и мне казалось, ждать оставалось недолго. Наши встречи становились все теплее, Люль вновь расцветала в ее былой нежности, и только была грустнее.

39.

И так, без слез, очень простыми словами, восстанавливалась нарушенная близость. Наши встречи учащались, новые знакомые все меньше занимали Люль. Она бывала все-таки и с ними, но это происходило больше из нежелания обидеть Фоллэт, чем из потребности с ними встречаться. Благодарная мне, может быть, за то, что я никогда не делал бесполезных сцен ревности и понимал, что важно не только то, как она поступала, но и то, как она сама к этому относилась, зная, что под моим внешним спокойствием таится тревога прежде всего за нее самое, она была со мной искренней в тогдашних ее переживаниях.

— Почему все так мерзко? — спрашивала она и когда я, отвечая ей, не соглашался, она невесело усмехалась и говорила:

— Это жизнь, Джим, ты не знаешь ее, потому и веришь в хорошее. С тобой также не посчитаются. Я не понимаю тебя: ведь это урок не только мне, но и тебе. Ты веришь и сейчас, и эта твоя вера — наше счастье и спасение. Но я боюсь, Джим, ты тоже можешь устать и разувериться. Все слишком наверно и хруп-

ко. Чем больше мы будем узнавать, тем грустнее нам будет. Сейчас мне хорошо, у меня есть ты, есть к кому пойти. Ну, а без тебя? К кому же еще я смогла бы так же обратиться? Значит, оставаться всегда там, с ними? Нет, нет, ни за что! Но — ты?... Ты можешь оставаться со мной и теперь? И останешься всегда? Всегда будешь таким, — так любить меня? даже если...? — Люль долго, внимательно смотрела мне в глаза.

— Я верю тебе, Джим, но я боюсь. Будет какое-нибудь несчастье. Я не знаю, не хочу больше ничего, но я чувствую: что-то должно случиться, — говорила она с тоской и страхом.

Трудно, с болью, разбитая и опустошенная, Люль очень медленно и постепенно восходила на прежнюю высоту и лишь по-немногу становилась опять жизнерадостной.

40.

В те, последние дни своей жизни, Люль приблизилась ко мне и стала мне дорога до восторга, боли и отчаяния. Я видел, как надломленная, ослабевшая в борьбе, она обращалась к нашей близости, как к последней надежде, искала там поддержки и покоя. Убедившись, что я не закрыл ей дорогу для возвращения, как будто бы поверив, что вдвоем нам бояться нечего, она судорожными усилиями хваталась за все, что нас сближало раньше и могло еще сильнее сблизить теперь. Мне казалось иногда, что она не только моя подруга, но существо еще более предназначенное для возможного земного счастья, — столько слитности со мной, предупредительного внимания и нежности было в ее

надрывном желании освободиться от недавнего влечения. Я слышу еще теперь, как звенит этот крик о помощи. Гордая, недоступная когда-то, может быть, от одного меня нескрывшая своих слез, поверившая и раскрывшаяся мне до конца, Люль в те дни более, чем когда-либо, искренно отдала нашей близости всю себя. Казалось, все плохое прошло. Люль не встречалась больше с Фоллэт, наши встречи проходили счастливее, чем до разлуки. «Еще немного времени, — думал я, — и Люль окрепнет, будет по-прежнему здоровой, спокойной и веселой». Ничто ни откуда не угрожало. Тучи собрались и гром грянул неожиданно.

41.

Я говорил, рассказывая о своих встречах с недавними знакомыми Люль, что они, как мне казалось, не могли ничем ее привлечь и заинтересовать. Люль ушла от них не только потому, что они были «мерзко воспитаны». Не будь этого, Люль может быть не так скоро, но все равно ушла бы. В большей или меньшей степени, это был тот же мир, который я узнавал после первой встречи с Люль. Что еще сказать о нем? Разве только то, что новые знакомые Люль были более развращены, кое-кто из них был премирован, и эти до смешного важничали. Но между ними был один, действительно красивый и, пожалуй, самый симпатичный, — пойнтер. На него было обращено главное внимание Люль и ненадолго, но именно он завладел ее чувством. После разлуки с ним, Люль, может быть несправедливо, но не вспоминала о нем иначе, как с отвращением, презрительностью и насмешкой над собой. Пойнтер был, и в самом деле, не очень умен, но зато

очень самоуверен и достаточно фатоват, чтобы вызывать восторги у Фоллэт. Отнимая сейчас всю любовь к моей подруге, забывая о ревности и прошлой боли, я все-таки не могу согласиться, что пойнтер мог бы занимать долго то место, которое занимал я. Кто-нибудь другой, кого, может быть, только случайно не встретила Люль, — да! но пойнтера я не могу себе представить. Только опьяненное, больное в то время сознание Люль, только ее убежденное чем-то и покорное «так нужно» могло сблизить тогда ее и того пойнтера.

42.

Прошел месяц после возвращения Люль, когда к ней подошла Фоллэт и о чем-то тихо ей сказала.

— Говори громче, я не слышу, — раздраженно ответила Люль, — что за секреты?

Фоллэт смущенно, отлично сознавая свое смешное положение предо мною, быстро и зло проговорила:

— Какая ты странная, Люль. То тот, то другой. Я пришла сказать тебе, что пойнтер уезжает через две недели и хочет тебя видеть. Что передать ему?

— Передай, что мы не увидимся, а еще лучше, не передавай ничего. Впрочем, как желаешь, это не будет иметь никакого значения.

Фоллэт ушла, Люль была расстроена.

— Пойнтер настойчив, он будет добиваться встречи. Но я не хочу его видеть. Нет, нет, достаточно того, что было. — Люль передернуло. — Этого больше не случится. Я не буду выходить никуда, пока он не уедет. Не сердись, так тоже нужно. Ты веришь мне? Я не хочу опять уходить от тебя, и я боюсь, боюсь себя.

Я уступил. Может быть, было бы лучше, если бы я настоял, чтобы Люль встретилась с пойнтером при мне. Но, должно быть, так и в самом деле было нужно. Наши прогулки прекратились. Мы переговаривались через калитку. Прошло десять дней. При последнем разговоре, Люль и я шутили, что поединок между пойнтером и мною становится, повидимому, неизбежным, так как разговаривать через калитку не очень удобно и приятно. Люль, смеясь, просила меня потерпеть и не ссориться с пойнтером, если я его увижу. До меня дошло, что он всюду ищет Люль и меня. Я был несколько раз на соседних улицах. Пойнтера там я не видел. Судьба готовила нам с ним другую встречу.

43.

Тот день начался дождем. Было холодно, грязно и, не дождавшись у калитки разговора с Люль, я вернулся домой. После завтрака, господин стал собираться в Париж. Я, как всегда, был этим доволен, — парижские улицы, их оживленность и особенно блеск мокрого асфальта меня пленяли.

Мы довольно долго были в конторе фильмовой компании, для которой господин писал в то время сценарий, и вечерние сумерки уже окутывали слегка январское ненастье, когда мы подошли к какому-то перекрестку и остановились, ожидая возможности перейти дорогу.

Мимо проезжали автомобили, громыхали и скрипели тормазами тяжелые автобусы. В мелькнувшем на секунду пустом пространстве между автомобилями, я увидел на другой стороне, наискось от нас хозяйку Люль. Предполагая, что где-то близко и сама Люль, я рванулся было через дорогу, но господин сердито при-

казал мне вернуться. Он взял меня за ошейник и отпустил только тогда, когда автомобильный поток кончился и мы стали переходить улицу. Я сейчас же нашел Люль. Не останавливаясь, она мне бросила: «Терпение, Джим, скоро увидимся, конец близок». Это были ее последние слова. Мы увидились скорее, чем думали и конец, в самом деле, оказался очень близок. Я не знаю, как это получилось, но когда мы с господином прошли дальше и вышли на большую, широкую и не очень шумную улицу, я увидел вдали на другой стороне силуэт Люль. Она шла по краю троттуара навстречу нам. Ее хозяйка шла недалеко вслед за нею.

Весь запыхавшийся откуда-то выскочил пойнтер. Он подбежал к Люль и горячо и возбужденно заговорил с нею. Расстояние между нами сокращалось, и я, несмотря на сгущавшиеся сумерки, видел хорошо, как Люль коротко ответила и отвернулась. Он бросился на нее. Я помчался по другой стороне. Люль побежала почему-то не к своей хозяйке, а в мою сторону. Она, конечно, убежала бы от пойнтера. Легко, едва касаясь троттуара, она почти без усилий делала большие скачки, пойнтер, все более отставая, гнался за нею. Поравнявшись со мной, Люль круто свернула на мостовую. Было ли это желанием уйти от преследования, увидела ли она меня и хотела во мне найти защиту, или... или показалось ей в ту минуту, что не стоит, нельзя жить, встретившись опять с пойнтером, что «так нужно», я не знаю. Вслед за тем мгновением, когда ее сухое и узкое тело отделилось от троттуара, в моих глазах все потемнело, закружилось и потом точно оборвалось и полетело в пропасть. Я услышал страшный крик Люль, скрип тормазов и увидел белое и красное за передним колесом большого зеленого автомобиля. Послышались крики и нетерпеливые гудки. Зеленый автомобиль и собравшаяся толпа любопытных мешали движению. Я пробрался сквозь ту толпу и над раздав-

ленной грудью Люль встретился с пойнтером. Как все происходило дальше, я хорошо не помню. Мы, кажется, схватились там же, в толпе, нас разняли, но мы вырвались и продолжали нашу схватку в другом месте, где нам никто не мешал. Пойнтер знал приемы, оказался сильнее, и не я должен был остаться в живых; но мне удалось добраться до его горла. Это случилось, впрочем, помимо моей воли. В те минуты, когда мы катались по земле, пойнтер схватил мою лапу, прокусил ее до кости, и, сдавливая ее все крепче, до хруста, в напряжении поднял голову. Его горло осталось раскрытым. Горе потери Люль, боль, которая усиливалась от мертвой хватки, нашли выход в том, что я также почти намертво и глубоко впился в натуженное, а потом сразу ослабевшее и наполнившее мой рот густой и теплой кровью, горло пойнтера.

Я уходил на трех лапах, бесполезным победителем и навсегда одиноким. Капала кровь, капали слезы, когда я вернулся на место смерти Люль. Ее убрали и там, на асфальте, где была ее кровь, я едва мог различить небольшое пятно. Я смотрел, как оно исчезало под шинами проезжавших автомобилей.

В темноте, под вновь усилившимся дождем, я медленно возвращался в наше предместье. Когда капли дождя падали в раскрытую рану, было очень больно. Господин услышал, как я поднялся на террасу, открыл дверь и, увидя мою рану, бережно обмыл и забинтовал ее.

— Я видел все, Джим, — сказал он мне, — это тебя он, твой соперник? Я не думал, что ты вернешься... Бедная Люль!...

Я закрыл глаза, мне хотелось не открывать их больше никогда.

Господин долго сидел в тот вечер около меня и во время всей моей болезни был внимательным и ласковым.

Моя рана давно зажила и болит теперь только при неосторожных прыжках и в дурную погоду. А во всем во мне осталась другая рана, которую скоро закроет смерть.

Люль! Неужели и тогда, там, за смертью, я тебя никогда не увижу?

44.

Я долго не выходил на улицу. У меня болела прокушенная лапа, стрясшееся несчастье отняло все желания. Казалось, что все кончилось, ничего больше не нужно, да и нет ничего, за что стоило бы уцепиться. Ласка и внимание господина помогли мне вернуться к жизни. Я часто слышал тогда: «Джим, нужно жить, обязательно нужно жить! У тебя заживет раненая лапа, и ты увидишь, что жить можно, даже не соглашаясь на компромис. Обостренная чувствительность долго не принимала этого утешения. Потом, когда первое отчаяние стало сменяться воспоминаниями, эти слова были входом в отдых и надежду, что и для меня есть возможность жить во все еще негаснувшей любви господина. «Значит, правда», — думал я тогда, — значит, есть что-то, перед чем померкла красота хозяйки Люль, что сильнее разлуки, многолетней неизвестности», о чем теперь, после давней гибели Люль, перед моим недалеким уже концом, и я могу сказать: сильнее смерти. Память о Люль, служба сердцем господину, вот во что вылились мои чувства, когда, оправившись после потрясения, я вновь вышел на назначенную мне судьбой дорогу.

45.

Мои позиции были взорваны, позиции господина казались неприступными. Но только казались. Я все-таки что-то проглядел. Сбылись еще раз слова из рассказа моего предшественника: «всякая чужая, даже самая близкая жизнь — книга с вырванными страницами». Эти слова сбылись в первый раз на Люль, такой строгой, требовательной и все-таки допустившей себя до Фоллэт. Наше непонимание и связанное с ним одиночество идет, может быть, еще дальше. Не зовет ли нас иногда непонятный и неотступный голос, не заставляет ли безотчетная и неодолимая сила поступать помимо и часто против нашей воли. Это ли не еще более страшные одиночество и беззащитность — одиночество и беззащитность перед самим собою?

Как счастливо, что есть возможность не помнить, не встречать этого в себе, как счастливо, что снятся сны, от которых можно никогда не проснуться. Но есть действительность. И та действительность, которая во второй раз нарушила сон господина, была, может быть, в том, что слишком велика была его тоска, еще более необходима и по-прежнему невозможна помощь. Условия последнего полугодия его жизни сложились так, что та усталость ожидания, которая была в нем уже ко времени встречи с хозяйкой Люль и, которая, казалось, исчезла после разлуки с нею, раскрылась вновь с неожиданной для меня силой и привела сначала к сомнению, а потом — к разочарованию.

46.

Началось это так: друг господина переехал в Париж. Он, его жена, и совсем молоденькая девушка пришли к нам. Наша тишина, в которой редко раздавался человеческий голос и никогда не был слышен женский смех, внезапно заполнилась звенящими нотами. Был теплый июльский вечер, когда мы с господином услышали шаги и разговор в саду и вышли на террасу. Из-за темноты, я не мог тотчас же рассмотреть лица пришедших. И я не увидел, а почувствовал немного шумное довольство жизнью и общительность женщины, и замкнутость, неловкость, или неудовольствие от чего-то в те минуты — девушки.

— У вас так хорошо в вашем предместьи, что я не хочу сейчас же заходить в комнаты, — сказала жена друга, и разговор завязался на террасе.

Они говорили на том же языке, что и мосье Манье. Больше всех говорила молодая женщина. Обращаясь то к одному, то к другому, то ко всем одновременно, она никого не оставляла без внимания и приглашала каждого быть участником разговора или заинтересованным слушателем. Ее общительность казалась скольжением по самым различным темам, скольжением, может быть, блестящим, но не оставляющим никаких следов и едва ли интересным. От воспоминания о весело проведеном времени на пляже Канн она перешла к тому, что постоянное одиночество господина — вещь невозможная, обещала в самом недалеком будущем позаботиться о нашем развлечении и эта забота сейчас же сменилась заботой об устройстве недавно нанятой квартиры и о покупке автомобиля. Друг господина не ошибся в выборе спутницы, — с такой, как его жена, жизнь должна идти нетрудно и несложно.

Они вошли, наконец, в дом и расположились в комнате господина. Когда женщины остались на корот-

кое время одни, старшая из них подошла к портрету. Вероятно, зная от мужа значение этого портрета, она сказала:

— Я думала, что она красивее. Та книга, конечно, выдумка и ничего больше. Ты мечтательница, —обратилась она к сестре, — без сомнения, хотела бы быть на ее месте?

Девушка сидела на диване и, давно увидев и рассмотрев портрет, рассматривала комнату.

— Нет! — ответила она, — но разве каждой из нас так плохо быть для кого-нибудь тем, чем была для него она?

— Но, дорогая моя, это поэзия, и это — одно, а жизнь — другое.

— Здесь все, как в той книге: та же обстановка, такой же Джим, — нет лишь ее самой. И потом, мы знаем эту женщину и его слишком мало.

Я рассматривал и сравнивал их лица. Лицо старшей было красиво, выражало удовлетворенность, но мне не захотелось долго вглядываться в него или постараться запомнить. Лицо девушки, намного менее эффектное, не сразу открывало свою прелесть. С неправильными чертами, быстро меняющимся выражением, то мечтательным, то неподдельно-серьезным, оно говорило о мягкости, девичьи-трепетно настороженном внимании и большой душевной разборчивости. Чем больше я смотрел на него, тем мое расположение становилось большим. Я понял тогда, что с женой друга у нас будут безразличные отношения, а с девушкой — дружба прочная и навсегда. С того вечера, при встречах, я не отходил от нее.

47.

Они ушли от нас в тот вечер, оставив впечатление, в котором безоблачное благополучие смешивалось с незаметной, замкнутой в себе прелестью семнадцати лет девушки.

Ночью, как обычно, я дремал под столом, около ног господина. Была старая, ничем ненарушаемая тишина. Я дремал, просыпался и, как прежде, меня окружал все тот же мир. Все было, как в счастливое время, только на душе у меня не было больше сознания, что утром я буду с Люль.

Вот в коротких словах, то, что потом со мной происходило.

Мне никто, кроме господина и нашей тишины, не был нужен. Когда, после болезни, я стал выходить, встречаться, — случилось то, что должно было случиться — у меня появилась другая подруга. Близость с ней была скучной и, кажется, в первые же недели, между нами начались недоразумения. На упреки, слезы, сцены всякого рода у меня не было никакого ответного чувства. Мне очень скоро стали неинтересны вкусы и оценки моей новой подруги, я не мог к ним прислушиваться с тою же тревогой, с какой — всегда вознагражденной — я прислушивался к Люль, в них ничто, как я это знал, не могло меня по настоящему обрадовать или опечалить. Вероятно, и в самом деле, только в небезразличном для нас существе, нам на все важен и дорог именно тот или другой ответ. Мы жили, пожалуй, не хуже других, крупных ссор между нами не было, я почти не сомневаюсь в верности той подруги и не изменял ей сам. Но, как все это действительно безразлично, ничего не значит для меня... Я не люблю, но и не боюсь громких и страшных слов и такая измена, даже в Люль, меня едва ли бы в чем-нибудь разубедила.

Ах, Люль, Люль! Разве так важен пойнтер, или что-нибудь подобное, если ты сама не изменилась, если я всегда встречал в тебе ту, другую, более ценную верность, которую больше не находил ни в ком? Почему в словах моей второй подруги я так часто слышал те твои слова, которые она сказать не умела, или которых у нее не было? Тебя больше нет, нет давно, я лишь во сне тебя вижу, но я все помню и жду нового свидания. Теперь оно не за горами.

Сколько раз в те весенние дни, когда у меня стала заживать рана и я мог выходить на улицу, я бродил около калитки, долгими часами сидел перед каменным забором и ждал, что, может быть, случится чудо и мне снова явится мое белое видение. Я смотрел на забор, а над ним по-весеннему прозрачно голубело небо и только иногда облачко плыло по нему неторопливо и одиноко.

48.

Прошло меньше двух недель после того, как у нас был друг господина со своей семьей. Как-то, перед закатом солнца, он снова приехал к нам и увез нас к себе. Тот вечер прошел в обществе его жены, той же девушки и еще трех или четырех человек. Было весело и интересно. Мы вернулись домой после полуночи, и господин, немного усталый и рассеянный, недолго оставался за столом. Впервые, после возвращения к прежней жизни, он лег спать до рассвета.

Через несколько дней, друг и его жена снова приехали за нами. Господин работал и не согласился на их предложение тотчас же отправиться с ними в загородную прогулку. Жена друга взяла с него обещание навестить их дня через два-три.

Прошла неделя, мы никуда не выходили, друг господина приехал один и увез нас почти насильно. «Он недоволен, что мы нарушаем его одиночество» — говорил он в тот вечер жене, — «но несколько обедов у нас, прогулок за город, встреч с твоими подругами, и он сам почувствует нелепость своего положения».

Друг ошибался, господин не был недоволен, но, конечно, и не чувствовал нелепости, которой не существовало. Общество, в которое он вошел, не могло дать ему того, что давало одиночество.

Друг, вероятно, действительно решил увести господина от необычной жизни: встречи, прогулки, телефонные звонки, срочные вызовы стали повторяться все чаще. Иногда господин отказывался, иногда с шутливой покорностью подчинялся. Его как будто забавляло это дружеское вторжение, и он с интересом приглядывался к новым знакомствам, держась, как всегда, сдержанно и отдаленно. Наших ночей, между тем, становилось все меньше. Первой подруги он не забывал и не уходил от нее. Так прошло около двух месяцев.

49.

Та борьба, исход которой был предрешен и печален, началась незаметно. Двух месяцев оказалось достаточно, чтобы вновь, как после близости с хозяйкой Люль, еще больше убедиться в незаменимости девушки и в невозможности жить в других тем, чем он жил в ней. Встречи, новые знакомые, завязавшиеся более или менее близкие отношения с той или иной из молодых женщин, все это только обостряло всегдашнее желание, усиливало веру, и постепенно приводило в тупик, из которого выхода не было. Он мог бы найтись,

конечно, если бы сердце опять ошиблось, но и опять поверило бы, но в этот раз оно еще не уходило от своего единственного пути, ждало все с большей тоской, напряженностью, и — уставало ждать. Этого не знал и не мог знать никто, кроме меня. Тогда все находили господина повеселевшим, никто ничего не подозревал. Только после встреч, весело проведенного времени, оставшись наедине со мной, весь, точно чем-то истерзанный, сразу постаревший на много лет, крепко обняв мои плечи, после долгого молчания, он говорил мне: «Это не то, не то. Неужели мы никогда ее не дождемся?» По звуку его голоса я понимал, что он близок к пределу наболевшего желания, и если в самом скором времени не придет помощь, он надорвется, обессилит и отчается. Помощь не пришла.

50.

Господин и его друг сидели на веранде кафе, против большого магазина, — жена друга и девушка ушли за покупками.

— Я очень доволен тобой, — говорил друг, — ты гораздо мягче, чем кажешься. Не понимаю, как у тебя хватило воли расстаться с моей знакомой по Остэндэ. Но это небольшая беда, те, с которыми ты теперь, действуют на тебя не менее благотворно, — ты лучше выглядишь и настроен веселее. Ту, первую, не ждешь больше?

— Нет, не жду.

— Так — лучше, не правда ли?

— Так — проще, а лучше ли, не знаю.

— Ты все-таки как будто бы грустишь еще. Прости, что я затронул старое. Оно уйдет вскоре без сле-

да. Мне кажется, оно уже ушло. Так должно быть, ведь все равно ничего не будет, это только твой мираж. Жизнь — не то.

— Да, конечно.

Вечером, в тот же день, когда поединок слишком неравных противников все быстрее приближался к концу, когда разоруженная очевидностью бесполезного ожидания усталая душа все еще жила, чувствовала и желала, из нее ушло доверие.

— Джим! Мы только мечтали, это был сон, ошибка, — у нас никогда ничего не было...

— Как же не было, мой господин, если мы т а к любили и т а к думали?

51.

Без Люль, невольный и бессильный свидетель начавшегося второго ухода от девушки, я нигде и ни в чем не мог найти поддержки. В те часы, когда господин бывал дома и садился за работу, для меня не было уюта и спокойствия около его ног. Шли холодные и тревожные для меня дни...

Была одна из немногих в то время ночей, которую господин провел за столом. Словно перед отъездом, навсегда прощаясь, он пересматривал и уничтожал все, что могло обременить в путешествии и что еще совсем недавно составляло цель и смысл его существования. Он доставал из ящиков стола исписанные тетради, старые записные книжки, письма в узких серых конвертах, иногда задерживался над тем или иным листком, перечитывал его и, разрывая, как и все остальное, бросал в корзину. Ярко вспыхнул потом огонь в камине и от того последнего, торопливого и неинтересного свидания остался бесстрастный и недолгий след.

— ... так — лучше, Джим! — говорил он мне, пододвигая ближе к пламени клочки бумаги — нужно перестать жить несуществующим. Мы любили с тобой эти годы мою вымышленную модель. Понимаешь, Джим? Моделью оказалась не она, я слишком понадеялся, не рассчитал ее сил. Теперь будем помнить, что нет ни ее, ни другой, как она. Ждать больше нечего. Нам будет легче, проще и спокойнее...

Сгорала бумага. С ней вместе сгорала наша прежняя жизнь и счастье господина. Впрочем, тогда оно не казалось больше счастьем.

— ... я думал, Джим, что она — твоя будущая госпожа. Она была ею и могла придти к нам только в той книге. К нам она не придет, — ей незачем это делать. Нам нужно было ее, но ей нас было не нужно. Ты был счастливцем, Джим, твоя подруга в том рассказе вернулась к тебе и погибла, как и Люль, так странно. Она не могла пережить, примириться... Моя примирилась. Примиримся с этим и мы. Не будем жить, как прежде, будем без н е я.

Наши ночи прекратились совершенно. Господин работал с того времени по утрам, работал очень много, но в тех утренних, нормальных часах работы не было ничего, что когда-то его так сильно мучило и, вместе, делало счастливым.

52.

Сердце, которое устало и отчаялось, больше не могло и не хотело жить прежним. Портрет, правда, остался, остался и я, Джим, но мы никогда больше не собирались, не были втроем с господином. Я видел, как иногда какое-нибудь прорвавшееся воспоминание не

согревало, как в былое время, но лишь раздражало, — уход был, в самом деле, решительный и определенный. Новая жизнь, знакомства, завязывавшиеся близкие отношения принимались теперь, без всякого влияния друга, не с чувством, что это «не то, не то». Я многого не понимал, со многим не мог примириться, хотя не понимать и не примиряться было невозможно, и в то время, когда господин перестал верить, я, Джим, верил все так же. Когда он в спокойствии отчаяния дождаться, найти первую подругу, решил уже не добиваться больше счастья, а лишь как можно проще, легче и незаметнее проводить свои дни, я знал, что для него это не выход, что он не удовлетворится чем- нибудь и что это ему удастся еще менее, чем первая попытка компромиса. Тогда пригрезилась возможность замены, теперь, чтобы не сбиться на старую дорогу, сердце не оставлялось без присмотра, но оно было тем же самым и не на этом упрощенном, деланном благополучии оно могло успокоиться. Господин мог ему не поддаваться, мог, конечно, остановить все его желания, но изменить его был невластен. Он больше не верил, не ждал и не искал, но ему все так же нужно было только одно, то же, что и прежде, а в его новой жизни было холоднее и более пустынно, чем в моей, после того, как во мне прошла смерть Люль.

53.

Музыка заглохла. Нежность, страстная тоска пытались найти утоление там, где его не могло быть. Второй компромисс был также обречен на неудачу. Слишком велик был недавний напор, слишком ничтожно было все новое, а возвращение к прежнему состоянию

— невозможно. Спасти могло одно — появление первой подруги. Слабым, слишком слабым сопротивлением раскрывшейся и захватывавшей пустоте была дружба господина с молодой родственницей его друга. Предо мною блеснула, было, надежда, я видел, как господин выделял эту молоденькую девушку, с какою благодарностью смотрел на нее в иные минуты. Но, как бы остановлено в нем было тогда его прежнее стремление, — он не допускал ни себя, ни ее до той душевной близости, которая была возможна и, может быть, необходима. С недоумением, иногда с недовольством, наблюдала эта девушка за господином, когда он бывал среди их знакомых. «Я не могу понять», — сказала она господину в одну из прогулок по кварталам старого Парижа (на эти прогулки они всегда брали меня с собой), мне трудно примирить ваши книги и вас прежнего с той жизнью, в которой вы теперь живете. Я люблю мою сестру, она неплохая женщина, но вам нужно быть не с ней и не с такими, как ее подруги. Последнее время, вы как будто бы стараетесь доказать обратное, но это похоже на игру. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Вы бываете теперь веселым чаще, чем в начале нашего знакомства, но мне кажется, что вы стали еще более грустным».

Что-то блеснуло в глазах господина, он быстро и пытливо взглянул на девушку и тотчас же, что-то оборвав в себе, почти насмешливо ответил:

— В самом деле? Я не замечаю этого. Все, кроме вас, находят меня в превосходном состоянии. Этому нужно верить. Я, вероятно, наскучил вам, или вы грустите сами, но это оттого, что вам только семнадцать лет. Когда вам будет в два раза больше, вы будете говорить то же, что другие.

Их встречи и разговоры были для меня освежающим ветерком. Только в те часы, когда они бывали вдвоем, на прогулках, в комнатах, или во время игры

в теннис, на меня веяло прежним. Прощаясь после одного из вечеров, проведенных в семье друга, господин поцеловал руки обеих сестер. Друг, смеясь спросил: «Разве ты целуешь руки всем девушкам?» Ответ был не ему: «Я не уверен в том, что все девушки становятся потом одинаковыми».

54.

Шла ненастная зима того года. Дни начинались в тумане, были бессолнечны, вечера тягуче-медленно переходили в ночи, бесконечные и томительные. С парижских улиц ушло обычное для них оживление, все было загнано в себя, затаено и одиноко. Ночь, непогода, — как счастливо именно тогда услышать слова такие простые и необходимые. Но если нет и их, — как счастливо вслушаться в тишину, уйти в воспоминания, вызвать сон, в котором нет ненастья и одиночества. Тогда еще не пустота, не конец и не смерть, тогда нет нужды искать тепло искусственное и чужое. Конец и смерть, когда, собираясь к себе, вспоминая, пересматривая и оценивая, можно найти только пустое и холодное молчание, которое никогда не нарушится, когда вокруг тьма, что никогда не разорвется. Тогда — конец, тогда единственное облегчение, чтобы все скорее кончилось.

В ту ненастную погоду господин простудился. Первое время болезнь не вызывала ни внимания, ни заботы, но это был конец. Причиной его было не внезапное осложнение, вызванное неосторожностью, но явившееся сознание, что жить, если нечем, то и незачем.

55.

Была ночь, за окном шумел дождь и ветер, и в наших комнатах снова горел огонь, снова, после очень большого перерыва, господин сидел за столом. Он дня три уже не выходил из дому из-за начавшегося легкого недомогания. Ночь и вынужденное для него в то время одиночество потянули его к прошлым привычкам. Отвыкший за последние месяцы от моего уюта около его ног, я лежал у стены под портретом и видел, как господин внимательно перечитывал свою последнюю работу. Он как будто искал что-то в каждой странице, хотел что-то там увидеть. Выражение его лица было сосредоточенным и становилось все более суровым. Я вспоминал наши прежние, тем же занятые часы. Сколько удовлетворенности, счастья испытывал он, перечитывая исписанные им страницы, сколько раз встречал в них, иногда давшихся ему мучительно и трудно, то же самое радовавшее и освежавшее его, что в былое время переносилось на него с портрета. Ничего похожего на такую встречу не было той ночью. Поиски в новом не могли дать ничего. Он закрыл рукопись, не глядя отодвинул, почти оттолкнул ее от себя, долго бесцельно мял папиросу, сломал, бросил ее, и поднявшись, медленно пошел по всем комнатам. Насвистывая, глубоко заложив руки в карманы домашней куртки, он ходил из комнаты в комнату, казалось, с самым беззаботным видом. Но когда он сел затем на широкий диван, забился в его угол и оттуда, оглядев комнату, заметил и позвал меня, я понял, что с ним происходило. Его лицо было искажено, взгляд был пустой и потерянный, в глазах бегали больные огоньки, рука была в ознобе.

— Джим! Ты слышишь, какая кругом мертвая тишина? — с мукой проговорил господин.

За окном шумели деревья, по стеклу ударяли кап-

ли дождя, нас окружали давно знакомые предметы, но все это в те минуты было далеко, глухо, непроницаемо.

— Значит , правда, Джим, совсем ничего нет и не может быть? — падали слова в отчаяние той ночи.

Господин не вспомнил тогда о первой подруге, не подошел за помощью и защитой к ее портрету. Жизнь за последние месяцы навсегда и далеко увела его из прежнего состояния. Ничего больше не интересовало и не привязывало.

На другой день господин слег. Первое время за ним ухаживала наша пожилая женщина. Болезнь осложнялась. У нас стал появляться незнакомый мне человек, который озабоченно выслушивал грудь господина, предписывал строгий уход и на расспросы друга, его жены и девушки, к тому времени попеременно остававшихся в нашем доме, все безнадежнее разводил руками и говорил о неправильной работе сердца. Болезнь развивалась быстро и была тяжелой.

56.

Конечно, в те дни, как, вероятно, и потом, никто не мог подозревать почему так быстро наступила развязка. Такое подозрение было бы бессмысленным, — болезнь, осложнение были налицо. Никакого подозрения не было и у меня, но причина развязки, я знал, была иная. Я не отлучался из комнаты, не спускал глаз с господина и видел, как он не хотел выздоравливать. После той ночи, когда он почувствовал, что у него ничего больше нет и быть не может, он понял, что для него не осталось иного выхода, кроме смерти. Жизнь его кончилась именно тогда, а не через пять недель,

как это было в действительности. Ложь, которой он окружил себя после второго ухода от первой подруги, ложь, принятая им, как единственно-осуществимая правда, оказалась для него не по силам. Сердце, жившее, по словам друга, миражем, не выдержало настоящей жизни.

Я сказал, что он не хотел выздоравливать. Так было на самом деле. Более чем безразлично он относился к лечению и как будто бы даже с облегчением и нетерпеливо-радостно ждал конца, когда узнал, что его положение безнадежно. Он почти с недоумением смотрел на тревогу и сочувствие окружающих.

— В Париже есть очень хорошие доктора, мы позовем их и они вернут вас нам, — говорила жена друга и не получала в ответ ничего, кроме слов благодарности за напрасное беспокойство.

«О чем волнение? Все идет так, как нужно. Они странные, Джим, не хотят понять, что если кончится все хорошее, то ведь кончится и все плохое: не будет никаких компромисов, ничего, даже пустоты не будет. Разве это так непонятно и плохо, если ничего хорошего быть не может, — сказал мне в те дни господин, когда мы остались с ним вдвоем.

Окаменевая, молча, крепко сжав рот, действительно желая, чтобы все как можно скорее кончилось, господин все больше погружался в последнюю тишину и высший, недоступный для его друзей покой.

57.

Начался бред. В этом бреду в последний раз к нему пришла его подруга.

Был поздний вечер, во второй комнате дремала же-

на друга, господин, тяжело дыша, беспокойно двигался на диване. Он вдруг поднялся, протянул перед собою руки, как бы принимая кого-то в объятья, и залился долгим, счастливым и жутким смехом.

— ... не удалось, — говорил он, — в Париже есть очень хорошие доктора, но не удалось. Обман не удался, теперь меня никто не вернет к ним. Джим все-таки не ошибся, нашел тебя. Как счастливо, как хорошо!... Ты все та же... и от тебя, такой, — уходить?...

Его связная речь прервалась. Жена друга, проснувшаяся и пришедшая из другой комнаты, испуганная и непонимавшая его слов, уговаривала лечь и успокоиться. Он лег и продолжал говорить о том, какой длинный и трудный путь пробежал я, его Джим, как я устал, но как все оправдано и исцелено встречей.

Ранним утром, когда жар спал и жена друга, утомленная бессонной ночью, вновь задремала, господин склонился с подушки и тихо позвал меня. Я подошел, положил голову на край дивана. Ослабевшей рукой господин погладил меня и сказал:

— Нам нужно попрощаться, Джим. Ты — лучше, вернее меня, прости, что я невсегда был с тобою. Так было бы, может быть, лучше. Я ничего, ничего больше не знаю, ни во что не верю... — он замолчал и потом продолжал со своей последней безнадежностью: — Не сердись, что я обманул и тебя. Мы гнались с тобой в те ночи за мечтой. Мы ошиблись. — Он сказал это без всякой горечи, и не горечь, но и не прежняя светлая надежда, были в его словах, когда он, все вспоминая и взвешивая, был на распутьи.

— ... мы ошиблись и признали нашу ошибку. Но что же было потом? Правда? Я не знаю, Джим. Поживи подольше после меня, посмотри... — он, не договорив, устало закрыл глаза. Я отошел, лег у стены под портретом, наблюдая за едва заметным и неровным дыханием господина. Он был в забытьи.

58.

Был последний день его жизни и казалось, что все счеты были подведены, ничто земное не могло больше взволновать. И вместе с тем, нельзя было не заметить, как в эти пресмертные часы в нем все чаще появлялась какая-то тревога. Но это не было выражением страха перед смертью. Он лежал все так же, без движения, и только голова его не могла найти себе места. Он точно отгонял что-то, что мешало его покою, и не мог отогнать.

Молодая родственница его друга сидела в кресле и, стараясь делать это незаметно, следила за его движениями.

— Вам что-нибудь мешает? болит голова? — спросила она.

— Нет, не нужно ничего. Сядьте ближе, я хочу вам сказать...

Девушка подвинула кресло к дивану. Из всех, кто был в то время с господином, она одна никогда не дремала ни минуты, была спокойной, внимательной без назойливости и не говорила обнадеживающих фальшивых фраз, которые говорили все, кроме нее. Вероятно, этим скромным, но большим подарком, вместе со всем остальным, что было в той девушке, именно к ней было обращено последнее доверие господина. Как итог всему пережитому, как самое главное, что осталось от прошедших любви, сомнения и отчаяния, были слова:

— Я хочу попросить вас взять к себе Джима. Вам придется смотреть за ним, может быть, очень недолго. Дело вот в чем: та моя книга, конечно, выдумка. Но вот, сейчас, после всего, мне думается, что эта выдумка построена не на лжи. Было ведь и вправду и ожидание и доверие, и все остальное. А там, где нет лжи, не может быть ошибки. Не так ли? Она, та, про кого рассказано, должна, непременно должна вернуться. Дело

случайности и времени. Есть два пути к пониманию счастья: иным необходим более трудный и продолжительный, — так бывает. Вы понимаете, я говорю о запутавшихся в себе, несчастливых людях. Та книга могла все объяснить, облегчить, ускорить. Этого не случилось до сих пор и теперь дело не во встрече со мною. Ей нужно будет жить и ей будет трудно. Я знаю ее почти с детства и не верю в ее счастье. Счастливыми такие не бывают. Особенно тем счастьем, которое тогда ее манило. Ей может понадобиться Джим, как живой свидетель, как доказательство правды расказанной в той книге о ней самой. За эту правду ей нужно будет уцепиться. Вот для этого, присмотрите за Джимом до ее приезда.

К ночи, у господина снова начался бред. Он звал меня и в бессвязных, обрывающихся фразах были те же тревога и уверенность, которые пришли к нему, когда все стало переболевшим, испепеленным и ясным последней ясностью. Он умер перед рассветом. Последнее, что он сказал, было имя его первой подруги.

59.

Меня взяли в семью друга. Смерть господина произвела в ней различные впечатления. Друг и его жена были опечалены глубоко и искренно. Они оба были хорошие, сердечные люди и, конечно, их нисколько нельзя обвинять, что они невольно содействовали уходу господина из того состояния, которое только одно и привязывало его к жизни. Виноват в той развязке — если вообще можно говорить о чьей-нибудь вине — был один он. А они, они, верятнее всего, просто нико-

гда и не думали, что от этого можно погибнуть, — книга моего предшественника и наше одиночество им ничего не сказали. Они знали о давней любви господина, но считали ее такой же малозначительной, какая была, может быть, у них самих, бывает в начале почти каждой жизни и о которой вспоминается потом со снисходительной улыбкой. Рассказ того Джима казался им поэтическим вымыслом, чем-то фантастическим и преувеличенным, к чему нельзя серьезно относиться и с чем, тем более, нельзя что-либо связывать. Они были верны и последовательны их взглядам. Только юность, протянувшаяся из нее взаимная привязанность, сближали ту семью с нами. Их печаль вскоре перешла в очень спокойное, почти равнодушное воспоминание, и чем больше проходило времени, тем равнодушия было больше. Вероятно, так же скоро наступило бы полное забвение, если бы не случилось того, что мне еще предстоит рассказывать.

Девушка встретила ту смерть по-другому. Она тоже была опечалена, но даже и через печаль, она, как будто бы хотела разгадать связь между смертью господина и его любовью. Она знала не все и не понимала поэтому, как следует, но та книга, беседы с господином, его непонятный для нее уход от прежней жизни, предсмертная просьба, заставила ее почувствовать то, что другие почувствовать не сумели. В ней была внимательность, которой не было у друга господина и его жены, и она, эта внимательность, не могла не показать ей очевидности лжи последних месяцев нашей жизни. Я боюсь, что умея видеть такие вещи, — а эта девушка едва ли когда-нибудь расстанется с таким умением, — ей будет нелегко жить. Мне почему-то кажется, что и она должна пройти свою жизнь по какой-то очень невеселой дороге. Если она не огрубеет, не разучится быть такой, какой я ее знал, если у нее не будет какой-нибудь защиты, она едва ли будет счастлива. Жизнь в

семье своей сестры она переносила без тягости, но самой ей ее жизнь рисовалась по-иному.

Моя дружба с ней, возникшая при первой же встрече, укрепилась еще прочнее в тех, действительно, неподдельных присматривании и заботе обо мне, которым я был поручен. Она не расставалась со мною почти никогда, повсюду брала меня с собою, и я вспоминаю теперь с благодарностью, как в те дни, потеряв недавно Люль и только что лишившись господина, весь совершенно опустошенной, я около одной этой моей юной хозяйки чувствовал себя сносно. Вкруг было все другое, ничем не напоминающее того, к чему я привык, во всем и везде я был посторонним. Из прежней жизни сохранился только книжный шкаф из комнаты господина, который — я помню это хорошо — отстояла от продажи девушка и который был перевезен в квартиру друга. Только он, этот шкаф, книги, немногие рукописи, где-то между ними хранившийся портрет напоминали мне мое прошлое, когда я садился возле него, рассматривал его резные дверцы, чувствовал едва уловимый запах старого дерева и лака. В жизни, которая тогда шла около меня, ни шкаф, ни я не были нужны. Друг господина и его жена не любили и поэтому не имели времени заниматься чтением, и для меня было всегда большим праздником, когда девушка, как будто бы все в том же желании проникнуть в прошедшее перед нею, перебирала книгу за книгой и часто надолго застывала в кресле над одной из них. С благодарностью, с наслаждением, с чувством большого покоя, я укладывался у ее ног. Хорошо, когда все свое прошло, кончилось, переболело и перегорело, быть с такими как она. Лишь моей настоящей госпоже можно было сделать так, что я ушел от той девушки, не страдая от разлуки. Тогда же, в те блаженные для меня часы чтения, я впервые стал понимать, что я устал и состарился.

60.

Шли недели, месяцы, я все больше привязывался к той девушке, все больше ценил ее.

Она была парижанкой не меньше, чем ее сестра и другие женщины, бывавшие в их доме, и ей никто не смог бы сделать упрека, что она искажает этот образ. Все, что отличает парижанку от непарижанок, было в ней, но в ней было и то, что на земле встречается вообще не так часто. Из-за ее врожденного изящества, полусознательного кокетства, иногда почти детской несерьезности, приподнятой нервности и невсегда оправданного пафоса, проглядывало что-то очень человечное, какое-то очень большое и серьезное желание не скользить по поверхности, а ко многому присмотреться, многое понять и недаром, невпустую пройти свой путь. Только потом, прожив около нее много дней, я нашел объяснение тому ее чувству неловкости и недовольства, о которых я говорил, рассказывая об ее первом появлении, — развязанность и прекраснодушие приводили ее в недоумение и коробили.

Вспоминая сейчас все, чем кончалась жизнь господина, я не могу не вспомнить еще больше те, вероятно, невольные порывы его душевной потребности, которые обращали его и тогда к этой девушке не так, как к другим. Он видел, что в ней было что-то из того мира, из которого он ушел, но который был ему все так же дорог. Может быть, если бы ей не было только семнадцать лет, а в господине так много усталости и недоверия, мне пришлось бы по-иному закончить мой рассказ. Я не знаю, как сложится, пройдет ее жизнь, но вспоминая всех, кого я знал, мне приходится делить их на две очень неравные части: в одной слишком немного таких как она, в другой — все остальные. Дело не в том, кто лучше или хуже. Дело в тоне, настроенности, возможно, в той же душевной потребности. Я

помню мое чувство, когда я, наблюдая все домашние мелочи в жизни моих новых хозяев, очень часто убеждался, что ненайденная подруга пользовалась у нас гораздо большим уважением, любовью и близостью, была неотъемлемее и значительнее, чем жена друга у себя в семье. У них была взаимность, было доверие, все шло очень хорошо и благополучно, но не было того, что у нас: внутреннего света, бессознательного и обогащающего внимания, способности замечать и любоваться тем, что создает и оправдывает непрерывающийся душевный праздник. В той девушке это было, во всяком случае могло быть. Поэтому-то она одна все видела, не верила в ложь господина, не понимала и не могла разобраться в сложности того, что тогда происходило. Для нее будет лучше, если она потеряет к этому интерес, не поймет этого никогда. Многого не понимая и не зная, не желая знать, живя в полусознании или по предписанному и принятому образцу жить проще и легче. Я понял это, живя в той семье. Там все было объяснимее, более разрешено и счастливо, чем у нас. Но вот в чем дело: если бы мне, Джиму, дали еще одну жизнь и предложили выбор: жить всегда и во всем благополучно, но никогда не встретить Люль, или — Люль и тяжесть вдвое большая перенесенной, я не задумался бы над ответом.

61.

Итак, как будто бы все было кончено. Я думал, что для меня остались только моя юная хозяйка и сны о прошлом. Меня, по-прежнему, мало интересовала уличная жизнь. Те, кто в ней заменили Фоллэт, Рипа и остальных, мало чем от них отличались. Отовсюду на

меня смотрела та же скучная, бедная и пошловатая душа, с тем же напускным и дешевым цинизмом, с тою же развязаностью, встречавшаяся с тем, что уносило на время и ее от ее бедности и грязи, та же душа, которой так часто нужны тепло, свет и простая чистая ласка и которая все-таки предпочитает заполнять себя всяким хламом, иногда с виртуозностью обращать хорошее в дурное и укрываться от неизбежного и для нее одиночества, ничем не брезгуя. Все было то же самое, слова, которые я услышал о себе на выставке, давно уже сбылись и были оправданы. Быть веселым мне, действительно, было бы не отчего. Я принимал и принимаю все, умею быть жизнерадостным, да и каким же мне быть иным, если я и к настоящей радости тоже притронулся. Но быть веселым как тот фокс, прозабавляться и пропрыгать всю жизнь я не мог. После потери Люль и господина, это выяснилось для меня определенно и резко, и я снова, и еще более, чем когда-то, выслушивал замечаний что я всех сторонюсь, что мне нужно что-то необыкновенное. А мне с ними было просто тяжело и скучно. В общем, мои новые знакомые, их и мои желания были те же, что и раньше, не было лишь Люль, или другой, сколько-нибудь похожей на нее. И я снова задаю себе вопрос: что же было в моей первой подруге, что я и по-сейчас забыть не в силах? Я сравниваю ее ум, внешнее изящество, — в них нет ничего особенного, такой же ум и неменьшее изящество я встречал не раз, но вся Люль неповторима. Конечно, я сознаю, что такая, как Люль, не единственна, что другую такую же я только случайно не встретил. Или, может быть, в одной жизни может пройти лишь одна Люль. Ее мир сложный, не всегда легкий, но зато всегда щедро одаряющий, был слишком большой, он слишком разросся во мне и не оставил места для равного ему другого. И еще, и это самое главное: мне нужно было всегда, нужно и теперь, именно то, что было в

Люль, — отсюда ее необъяснимость до конца, очарование, власть, и моя о ней память.

62.

Я не ждал ничего, прошло около полугода, была опять весна.

Мы сидели за завтраком, когда горничная принесла письмо в узком сером конверте, адресованное другу господина. Его жена, с шутливой подозрительностью, вскинула брови.

— Конверт слишком изящен для делового письма. Я не знала, что у тебя есть корреспондентка. Она все-таки очень смела — письмо могло случайно попасть в мои руки, — говорила она смеясь и внимательно наблюдая, как ее муж с недоумением и недоверчивостью разрывал край конверта. Когда он вынул и развернул квадратный листок, она быстро заглянула в написанное мелким и прямым почерком.

— Я ничего не понимаю. Написано по-русски? Это твоя соотечественница? Кто такая? Что она пишет? — не улыбаясь больше, тревожно и ревниво заглядывая в лицо и по его выражению стараясь скорее что-нибудь понять, добивалась она ответа.

Друг господина, казалось, не слышал ее слов. Чуть нахмурившись вначале, он все с большим изумлением пробегал строчки. Прочитав письмо до конца, по-прежнему не отвечая на нетерпеливые вопросы жены, он горестно и бессильно развел руками и взглянул на меня.

— Джим! Она приехала!

Он перевел письмо жене и девушке. В нем говорилось о том, что полгода назад книга моего предшест-

венника попала в руки тому, для кого была написана. Тогда же «наша девушка» написала письмо господину.

— Она пишет, — переводил друг, — «... я опоздала на два дня. Мое письмо пришло обратно в Италию, где я жила в то время. В редакции газеты, на которую я писала, надеясь таким путем скорее найти покойного, на моем конверте написали: «возвращено за смертью адресата».

Я помню, как жена друга, забывшая о своей недавней и напрасной тревоге, взволнованная, как и остальные, сказала:

— Два дня?... Но ведь это значит, что она писала ему в день, может быть, в час его смерти, — и она почти со страхом прижималась к плечу мужа. — Он бредил перед концом и как будто чувствовал что-то. Он только не дождался.

Девушка не говорила ничего. Она помнила слова, обращенные к ней одной и лучше других знала, о чем не «как будто» и не в бреду была последняя тревога господина.

Дальше, в том письме было написано. «Я ликвидировала все мои дела в Италии и переехала в Париж. Вот уже месяц, как я здесь. Через редакцию и издательство, в котором он работал, я нашла дом, где он жил. Теперь там живут другие, и они ничего не могли мне сказать. Только сегодня, совсем случайно, я узнала ваш адрес. Вы, он, моя бывшая подруга и я были когда-то неделимы. Он был привязан к вам всегда, может быть, вы были около него и эти годы. Я всех давно растеряла. Если у вас сохранилось что-нибудь от него и вы можете поделиться этим со мною, я буду очень признательна».

— Что-ж, мы отдадим ей все. Нам это — воспоминание, а ей... кто знает?.. — с неожиданным для меня чувством и как будто бы пониманием того, что он не мог, или не хотел понять раньше, сказал друг господи-

на. — Нужно позвонить ей, что я свободен завтра вечером и что у нас остались некоторые книги, рукописи, дневники, и он, Джим. Слышишь, Джим? — снова обратился он ко мне, — завтра ты будешь с твоей настоящей госпожей!

63.

Я ждал вечер следующего дня, как ничего и никогда в жизни. Накануне я видел сон.

Мы с Люль, оба постаревшие, шли по широкой и пустынной улице.

— Ты узнаешь это место, Джим? Помнишь мою гибель? Смотри, вот и она, твоя вечная настоящая госпожа, — и Люль указала мне на маленькую девочку в черной, обшитой серым мехом, шубке. Девочка шла по другой стороне улицы и играла с фоксом. Она сняла шубку, под ней оказался тот театрально фантастический наряд, который я видел на нашем портрете. Фокс, играя, схватил зубами шубку и вырвал ее из рук девочки. «Отдай!» — кричала та, смеясь и топая ножкой, «отдай! Я не хочу быть всегда в этом наряде, в нем будет холодно. Ты испачкаешь мою шубку, изорвешь. Отдай!» Она перестала смеяться, села на край тротуара и заплакала. Я хотел отнять у фокса шубку, вернуть ее девочке. Люль меня удержала. «Ты все такой же, Джим! Посмотри, как далеко убежал фокс, его нельзя догнать». Девочка плакала, закрыв лицо руками и, когда мы подошли к ней, она поднялась и пошла, все так же плача, но эта была уже не девочка, а та высокая худая дама, которая при мне на той выставке выбрала и купила санбернара. Она уходила от нас, уменьшалась и исчезла, наконец, в дали улицы. «А теперь,

Джим, если ты сумеешь, — на помощь!» Я понял, что я должен был покинуть навсегда Люль, чтобы спасти от чего-то страшного ту даму. «Так нужно, Джим, иди!» — повторила Люль, и я проснулся.

Была ночь, тишина, и смутно вспомнив выставку, встречи с девочкой и высокой дамой, слушая еще звучавший голос Люль, я незаметно для себя уснул снова. Сон продолжался.

«Вставай, Джим! Вставай!» — будто бы будила меня Люль. Мы были на нашей терассе и Люль была молодая и веселая. «Скорее в парк», — торопила она меня, — пойнтера больше нет, я не боюсь теперь ничего!» Мы вышли на улицу, и на афишном столбе я увидел полу-забытое изображение. «Одна из систэрс» — сказал кто-то из читавших афишу. «Систэр» сошла с афиши, в ее руках была большая муфта из серого меха. «Это от той шубки, Джим, помнишь ее?» спросила Люль, «но что это?.. Опять, опять!.. Значит, не кончилось...» Люль с ужасом смотрела на то, что заслоняла собою «систэр». Это была та же маленькая девочка, плачущая и в страхе прижимавшая к груди свои ручки. Ее театрально-фантастический наряд был измят и разорван, ей было холодно. «Систэр» нагнулась к ней, ласково провела рукой по ее растрепавшимся локонам и поцеловала. Страх девочки был оттого, что к ней все ближе подходил пойнтер. Я бросился на него, и он разделился на двух таких же, и, когда я снова бросился на одного из них, тот тоже разделился, и так было каждый раз при моей попытке, и вся улица заполнилась пойнтерами. Они все были с застывшими глазами, с разорванным горлом, тихо завывали, хрипели, ляскали зубами, угрожали броситься на меня и не трогались с места. Я хотел сказать об этом Люль, оглянулся и не нашел ни ее, ни девочки, ни «систэр». С ужасом и отвращением, я пробрался сквозь ту толпу мертвых пойнтеров и вдруг очутился на берегу моря на пляже. Ко мне навстречу

шла женщина в светлом платье. Она полу-закрывала свое лицо раскрытым зонтиком. Лицо было мне очень знакомо и в то же время совершенно новое для меня. Яркий свет от блестевшего моря и песка резал мне глаза, в них стало все сливаться, и я проснулся.

64.

В первый раз я увидел Люль на закате солнца. В таких же розовых и золотых лучах я впервые увидел ее, мою госпожу. Мы сидели в столовой, когда раздался звонок.

— Это она! Я пойду встречу, — сказал поднявшись друг господина. Поднялся и я. Мне приказали остаться на месте. Я смотрел на дверь, через которую они должны были войти, — на нее падал луч. Послышались приближающиеся шаги и голоса. У меня замерло сердце. Вероятно, во мне пронеслось: что испытывал бы он, господин, если бы он так же, как я, слышал за дверями ее шаги и голос? Я помню, как повернулась ручка двери и солнечное пятно быстро взлетело. Дверь широко распахнулась.

— Так вот она какая! — подумал я, — наша девушка, его и моя госпожа.

Девушка, почти девочка, с которой я так хорошо сжился за те годы, которая заглядывала и в мои сны, стояла теперь предо мною усталой и печальной женщиной. С чертами лица давно мне знакомыми, с невеселыми складками уголков плотно сжатого рта, со строгими и добрыми глазами, со светло-золотой прядью, выбившейся из-под маленькой шляпы, в сером весеннем костюме, по-девичьи легкая и стройная, вся очень простая и нежная, в луче, скользнувшем по ее лицу и груди,

пришла она ко мне и принесла долгожданное и опоздавшее для господина и неожиданное для меня счастье.

Друг господина познакомил ее с женой и родственницей. Потом она подошла ко мне.

— Так вот он, какой его друг! Джим, здравствуй!

Я видел, как после пробежавшей улыбки, еще плотнее сжались ее губы. Я лизнул погладившую меня руку. Рука была узкая, бледная и в те секунды, холодная...

Когда они сидели за столом, я рассматривал лицо госпожи. Мой господин не ошибся в своей предсмертной тревоге. У счастливых не бывает ни такой горькой усмешки, ни такого безразличного, ни во что как будто бы уже больше неверящего взгляда. Только что-то очень строго за собой наблюдающее, только внешне храбрящееся было в ее словах, звуке голоса, движениях.

—Вам будет приятнее и проще беседовать о вашем прошлом на вашем родном языке. Мы не хотим вас стеснять, — сказала молодая женщина очень любезно.

— ...Вы помните, вы были очень капризны, — улыбаясь, говорил друг господина, — и мне пришлось вас долго уговаривать. Он говорил мне, что с тех пор, как он вас впервые увидел, прошло больше года до той мартовской ночи, когда после нашего ученического концерта, вы, наконец, захотели сами, чтобы я привел к вам его. Теперь, после «Свидания Джима», вы видите, как ему было необходимо это знакомство.

— Я видела это всегда, — ответила она просто и спокойно, и в ее словах не было ни удивления, ни взволнованности, ни грусти. Да и во весь тот вечер я, несмотря на то, что с первого момента появления госпо-

жи почувствовал ее неподдельную близость к прошлой жизни господина, я нисколько и ни в чем не слышал желания вернуть прошедшие годы и прожить их по другому. Не хотела ли она позволить себе раскрыться, или приняла все, что пережила, как необходимое и должное, я не знаю. Мне показалось тогда, что она как будто бы, даже с сомнением и недоверчивостью относилась к тому, что с каждой минутой все подробнее узнавала. Она спокойно, пожалуй, слишком спокойно и холодно слушала своего собеседника, когда он говорил:

— Ваш портрет висел перед его столом все эти годы и, вероятно, это самая продолжительная первая любовь, о которой нам с вами суждено узнать. Когда он говорил о вас, у него было то же самое выражение лица, каким оно было — я вижу это очень ясно — на уроке скучной латинской грамматики на другой день после того концерта. Мы, весь класс, скучали и зевали, но когда я оборачивался со своей скамьи и встречался с ним глазами, я видел, что ему не может быть скучно. Я не знал тогда, что это так надолго останется, — это было семнадцать лет назад.

— Да, мы были почти вдвое моложе, и теперь, после этих семнадцати лет, и каких для всех нас лет... — задумавшись, она не договорила фразы и, как бы стараясь уйти от совсем других воспоминаний, стала рассказывать о встрече с книгой, которая столько лет ее искала.

— Рассказ того Джима мне привезла на репетицию моя подруга. Она сама только что прочла его и сказала мне, чтобы и я тоже узнала об этом невозможном, фантастическом происшествии. — Госпожа слегка усмехнулась. Я не знаю к чему относилась та усмешка, кто — она или ее подруга — назвала ту книгу фантастической.

— В тот день — продолжала она — я была все время занята и название книги и, тем более, псевдоним,

мне ничего не говорили. Я не знала тогда, что я носила с собой весь день. Признаться, книга даже мешала мне, потому что после репетиции я была на прощальном завтраке моего бывшего директора, потом поездка и проводы на вокзале, потом деловые встречи с декоратором и костюмером, потом вечер, снова театр, приготовления, и только поздно ночью, вернувшись домой после спектакля и ужина, с намерением скорей уснуть, я принялась за чтение. С первой же страницы я почувствовала, что читаю о чем-то очень знакомом и близком, не то своей, не то чужой дневник обо мне. Вы помните, в этой книге нет ни слова правды, вымышленно и условно все, с начала до конца: этот Джим и его подруга, их слишком очеловеченные чувства... Но в этой книге нет и лжи, все, о чем ведется рассказ, было или могло бы и должно было быть. Вот, только конец не тот. Он слишком понадеялся. Хотя, впрочем, что ж?... Я сижу у вас, мы говорим о том, что было так давно, я приехала за Джимом... Утром я написала ему письмо, а через два дня узнала из газет о его смерти. А потом и письмо пришло обратно. Оно так ненамного опоздало. Но оно, конечно, и не могло бы все равно вернуть ему здоровье.

Она говорила об этом, и я не мог понять, какое место в ее сердце занимал господин, о чем она писала ему в ее возвратившемся письме. Все та же маска, недоговоренность и спокойствие не изменяли ей. Она внимательно и с интересом слушала, что говорил ей друг господина, когда они подошли к книжному шкафу.

— Я нашел после его смерти пятнадцать или двадцать книг, которые лежали отдельно в его второй комнате. Я не знаю, верно это или нет, но девушка, которую вы только что видели, утверждает, что и эти книги, и та комната были приготовлены для вас.

Госпожа взглянула на некоторые из них, и опять

лишь заглушенным отголоском очень глубоко спрятанного чувства были слова:

— Он не ошибся и здесь. Я знаю и люблю эти книги.

Затем друг господина показал ей сохранившиеся рукописи.

— Он говорил мне незадолго до своей болезни, что он многое уничтожил, но вот, все таки, среди вещей, над которыми он работал последнее время, остались два старых дневника. Очевидно с ними он все таки не хотел расстаться. Вам будет, вероятно, интереснее, чем кому-нибудь другому, проследить из чего рождался рассказ Джима. Для нас с вами не тайна, что «Свидание Джима» — его свидание. Я слышал от него, что вся его работа часто заключалась в том, чтобы в других словах и картинах рассказать пережитое им самим.

Перебирая в шакфу книги и рукописи, друг господина нашел портрет и подавая его сказал:

— Ваша заместительница. Вы знаете по рассказу Джима, как много было ночных бесед с этим портретом. Кажется, такою он вас впервые увидел.

— Это мое первое сценическое выступление, — ответила она, долго и внимательно рассматривая свое изображение.

Взяв портрет, две тетради сохранившихся дневников и меня, госпожа увезла нас к себе.

65.

И вот уже давно идут мои одинокие дни. Моя госпожа со мною лишь по ночам, и я, старый, берегу ее покой и сны. Ее существование — цель и единственный смысл всей моей жизни. Она мне дороже, чем был ког-

да-то господин и, если это возможно, дороже, чем Люль. Я постараюсь объяснить, почему мое чувство к ней такое. Люль, все, что было в ней, представляется мне теперь, как самое прекрасное, что могло пройти в моей личной жизни. Господин без его прислушивания, работы и ожидания, не смог бы дать мне так много, как дал. И потому, что его жизнь была через край переполнена любовью и капли этой любви падали и на меня, и помогали мне в моих переживаниях услышать всю ту музыку, которая и по-сейчас еще не заглохла, как же мне может быть недорогой та, кто всему этому была началом и причиной? Но кто же, что такое она?

В ней нет как будто бы ничего, что было бы замечательным, и друг господина по-своему был прав, говоря когда-то, что в книге моего предшественника была легенда, вымышленный и украшенный воображением образ, а та, кто была моделью и играла такую исключительную роль в нашей жизни была женщиной с теми же достоинствами и недостатками, что и у других. Я помню, господин согласился с этими словами, — «...но все дело в том» — прибавил он — «что не каждой женщиной можно и стоит занимать внимание, не каждая умеет, даже при наличии любви к ней, надолго задержать его. Конечно, в рассказе Джима легенда о девушке, женщине, но так и должно быть, и все дело в прочности, в продолжительности такой легенды. Я не могу представить себе ничего подобного с твоей знакомой по Остэндэ. Понимаешь, мне нечего сказать. Да, признаюсь, я ошибся. В ее начальном внимании и нежности мне показалось, что нам с ней никогда не будет скучно. Трех месяцев было вполне достаточно, чтобы уйти и не желать возвращаться. Может быть, я не понял, не подошел, не отнесся к ней, как нужно, но, нет, я думал тогда что она станет госпожею Джима, а получилось... — прошло меньше года и у меня меньше и беднее воспоминания, чем о том, что было пятнадцать лет назад.

Впечатление о внешней красоте и скуке, которая охватила меня в конце нашей близости, вот все, что у меня осталось. Или, если хочешь, осталось еще ощущение от очень небольшого ума, но зато большой хитрости и пошлости. Любовь, говорят, сильнее смерти, но она, право, слабее пошлых выходок. Легенды, как видишь, в данном случае не может создаться. Из ничего, при всем желании, ничего нельзя сделать».

Я наблюдаю теперь госпожу, присматриваюсь к ее движениям, улыбкам, прислушиваюсь к звуку ее голоса, стараюсь понять, как и чем она живет и, проникая через прошлые воспоминания господина в ее юность, я за ее кажущейся простотой и внешней незамечательностью все яснее вижу и только теперь начинаю вполне охватывать то горестное и счастливое чувство, около которого я жил. Холодок и недоверие, которое я заметил при первой встрече с госпожей, говорят мне теперь не о холодном и еще более не о пустом, а об опустошенном человеческом сердце. Я едва ли сумею объяснить, как и в чем именно, но с каждым новым приближением мне открывается, что внешняя блестящая жизнь госпожи совсем не то, что ее могло бы удовлетворить и заполнить. Я часто вижу за ее сдержанностью и строгостью к своим чувствам что-то очень слабое и жалкое, как в птице с перебитыми крыльями, что-то очень по-женски несчастливое. Оно кроется за всеми обычными и такими легко-успешными у госпожи делами, но из-за них-то, вот, чаще всего и прорываются попытки найти помощь даже в таких вещах, как слова из книги моего предшественника и обращение со мной.

Я думаю так потому, что вот уж много раз, когда мы остаемся вдвоем и иногда долго смотрим друг другу в глаза, стараясь прочитать один в другом важный для нас и последний ответ, я вижу с какой надеждой и боязнью обмануться и здесь, она хочет увидеть во мне

что-то и поверить этому. В эти минуты мне становится тяжело и, вместе, радостно. Тяжело оттого, что я начинаю понимать, как ее слишком горькое, слишком во всем разуверившееся сознание не позволяет ей этого сделать. Я смотрю на нее, на это бывшее полудетское видение господина, на эту совсем недетскую и нерешенную задачу его жизни и мне радостно вспомнить и перенестись в наши далекие ночи, их тишину, напряжение, музыку. Те ночи были навеяны недаром. Если теперь, после всех этих лет, когда накопилось так много разочарований и усталости, моя госпожа все еще такая, то что же было в ней — девушке той поры, когда оне в их первом цветении так щедро оделяют своей прелестью каждого, кто к ним, хотя бы на время, приближается?

Кроме этих чувств, я испытываю и другое: госпожа больше и сильнее господина и только около нее, около такой, как она, могло быть его спасение. Посторонний шум не заглушил в ней, даже усталой и разуверившейся, того, что в ней когда-то было.

Я не знаю, что она писала в том возвратившемся письме. Опоздало ли оно принести им обоим счастье, или было чем-нибудь другим. Мне кажется иногда, что если бы их встреча осуществилась, счастливая растерянность первых минут не тотчас же сменилась бы тем, что им обоим было нужно. То, как она бережет его книги, дневники, как внимательно слушает рассказы друга, как нежно относится ко мне — только условия, при которых могла бы, может быть, разрешиться задача, но еще не само разрешение, не ответ. Только постепенно, так же постепенно и медленно, как раскрываются теперь перед госпожею те подробности, около которых прошла первая половина моей жизни, могло бы исчезнуть ее недоверие и одиночество. Вероятно, так случилось бы, потому что нужные ей книги, дневники, воспоминания друга о том, в чем участвовал и я, да и я тепе-

решний, но, ведь все тот же Джим, разве не он сам, господин? Но, вероятно, все это разрешается непросто, нелегко и нескоро.

Недавно ночью, проснувшись, я увидел госпожу плачущей. Я помню, как вздрогивало ее обнажившееся из-под одеяла плечо, с какою болью и примиренной безысходностью она вздохнула. Казалось бы, из-за чего? Той ночью, вернувшись из театра, она привезла с собою особенно много цветов и, несмотря на усталость за день, была блистательной, праздничной и точно одержавшей победу. Я узнал потом, что это был вечер одного из самых больших ее успехов. О чем же слезы, хотя бы и единственные, в моей всегда строгой к своим нервам госпоже? Или успех, внешнее убранство, благополучие и нарядность — не все? Или все это так мало стоит, так ненужно и беззащитно, если нет еще чего-то, может быть, незаметного для посторонних и такого необходимо-главного, часто трудного, а иногда и совсем невозможного для себя?

66.

Был один из немногих дней, которые госпожа с утра до вечера провела со мной. Ей нездоровилось и я, признаюсь, порадовался и этому. Она так редко может отдавать мне свое время. И еще — я заметил это давно — в нездоровии, в недомагании, люди ближе, может быть, больнее, но искреннее подходят к их внутренней жизни, вероятно, тогда больше времени остаться наедине с собою и увидеть самое главное из того, как сложилось и в чем проходят дни. Закутавшись в теплую шаль, в начинающихся декабрьских сумерках, госпожа сидела у окна и перелистывала давно прочитанный

ею дневник господина. Я видел, как она, то улыбалась, как улыбаются детям, то сосредоточенно и с недоумением сдвигала брови. Она остановилась на двух страницах, перечитала их несколько раз, потом поднялась с кресла и достала с полки книгу моего предшественника. Она долго перелистывала ее, отыскивала нужный ей отрывок и, наконец, нашла, стала сравнивать написанное в дневнике и в книге. Все внимательнее и строже делалось ее лицо, казалось, что она была недовольна. Она задумалась. Потом она точно вспомнила о чем-то, заглянула еще раз в раскрытые страницы и уже не могла больше не верить. Строгость исчезла и счастливая улыбка говорила о почти совсем ушедшем последнем оставшемся сомнении.

— Так все это — правда, Джим? Я **так** была вам нужна? Вы **так** меня ждали? — говорила она мне, когда я подошел к ней, положил голову на ее руки, обессиленными упавшие вместе с книгой и дневником на колени. Она склонилась ко мне, смотрела мне в глаза и выговаривала мое имя все нежнее.

— Джим! **Мой** Джим! Значит — правда? все это — было? могло существовать? Ты не выдумал ничего, а рассказал только правду в твоей книге?

— Что же делать, Джим? — сказала она потом, поднявшись и вздохнув. — Так тоже было нужно. Я не могла тогда быть другою и не виновата перед вами.

За окном темнело. Мы долго сидели не шевелясь и думали об одном и том же.

Да! Вероятно, так нужно. Ей нужно было пережить ее прошлое, чтобы теперь приблизиться, понять и нуждаться в нас. Она, конечно, поняла, почему поиски шли столь необычным путем. Для нее, как и для господина, встреча оказалась нужна и возможна только во мне, Джиме. Так же, как господин, лишь после того, как он написал книгу моего предшественника, понял, чем была и осталась для него его первая подруга, так

теперь и она на тех же страницах находит для себя то нужное, чего у нее нет и не было.

Так, вот, необычно и странно, едва коснувшись, навсегда переплелись их жизни: она принесла ему все лучшее, что в ней было, заставила его поверить в это и, отвернувшись от этого сама, уйдя в совсем другое, она только теперь, по своим же следам, которые мы сохранили, к себе и к нам возвращается. Но должно быть, и в самом деле в поисках счастья «есть два пути... иным нужен более трудный и продолжительный». Нужно обмануться в одном, чтобы желать уйти от него, нужно перестать верить другому, чтобы погибнуть. Госпожа и господин прошли различные пути, но теперь-то видно, что они шли к одному.

Мы провели тот вечер в грустной тишине и когда госпожа гладила мою голову, точно так же, как это делал господин, мне думалось, что вот, лишь так, через меня, через ласку мне, им было суждено встретиться во второй раз и до конца понять друг-друга. Их два мира совершенно одинаковые шли, как рельсы, и, как рельсы, без нарушения правильности, может быть, без катастрофы, слиться или хотя бы немного сблизиться здесь на земле, — не могли. Они оба были лишь путем, по которому прошло то, что пройти не смогло бы, если бы одного из них не было. И, может быть, эта возможность значительнее, чем то, что они могли, или не могли быть вместе. Значительна возможность такой простой и необыкновенной сказки, как бы эта сказка ни была тяжела и печальна. Сказки веселые и легкие можно принимать только в детстве. Теперь таким сказкам мы все равно не поверим. И тем ценнее, что давно выйдя из детства, давно многое потеряв и отлично зная, что вокруг все: — так обыденно, скучно, почти все — нехорошо, мы иногда за всеми нашими делами и заботами, наталкиваемся в себе или других на пренебреженное сердце, которое творит, вопреки всему часто

самое неуместное, противоречивое, невозможное, но всегда, и в самом деле, сказочное.

67.

Сегодня солнце, а мне холодно — моя старая кровь не греет. Утром, после того, как госпожа уехала в Париж, я долго еще дремал на ковре около ее постели. Мне дремлется теперь всегда, и почти всегда спится очень плохо. Часто даже днем я неожиданно для себя засыпаю и вижу сны. В этих снах — господин, моя первая подруга, все та-же, все такая же, которую нельзя рассказать до конца, но которую я особенно хорошо чувствую теперь, когда среди ненастной парижской зимы около меня вдруг падает солнечное пятно. Его свет и теплота напоминают мне свет и теплоту Люль. Мне кажется тогда, что она опять рядом со мною... По зимнему едва греющий, одинокий и сиротливый луч помогает мне глубже погрузиться в воспоминания и как будто бы заново освещает какую-нибудь полузабытую подробность в той или иной картине.

Как всегда, госпожи сейчас нет дома. Чтобы не очень тосковать, я брожу по нашим комнатам. Их тоже, как в доме господина, четыре и мне тоже лучше всего в той, где живет она. Мебель, очень напоминающая нашу прошлую вторую комнату, безделушки на камине и туалетном столике, оставленные в кресле шаль, книга или рукоделье и постоянная, ничем ненарушаемая тишина оживляют иногда очень сильно мое одиночество и связывают его с тишиной комнат господина. Я знаю, что ждать нечего, нельзя, но мне больше, чем прежде кажется, что эта теперешняя тишина полна неоконченностью, ожиданием, приготовлена для встречи.

В той тишине была намеренность, в этой все складывается само собою. Так, печально и счастливо, разорванная цепь моих дней соединена вновь.

Иногда я подхожу к окну, заглядываю на улицу. Там, та же торопливая жизнь. Я смотрю на прохожих и, кто знает, сколько, может быть, в каждом из них разорванных, но несоединенных снова дней. Чем больше я живу, тем больше вижу запутанного, неразрешимого и невеселого. Редко-редко, кто проходит свой путь благополучно, умеет не натыкаться на препятствия. Как хорошо, но и как тяжело жить на земле.

Сегодня ранним утром, когда я смотрел на спящую госпожу, мне очень хотелось, чтобы она увидела во сне что-нибудь по-настоящему радостное для нее, от чего ей и наяву стало бы легче и веселее. У меня такие сны бывают, — ко мне приходит Люль, ласковая, нежная, посмеивающаяся над моими слабостями, и у меня надолго остается хорошее чувство от ее напомнившей о себе свежести.

Должно быть, земное счастье раздроблено и его никогда нельзя собрать воедино. Всегда не достает какой-нибудь части, или за одну нужно отдать другую. Как драгоценные алмазы, как следы упавшей с неба и разбившейся прекрасной звезды, счастье возможно на земле только в том или ином из его осколков.

Как-то недавно я стоял у ворот нашего дома, вспоминал, глядя на улицу, прогулки с Люль и почувствовал, что теперь, если бы даже Люль была жива, мне едва ли хотелось бы вновь вмешиваться в парижскую жизнь, которая меня захватывала. Я теперь устал и состарился еще сильнее. Мне скучно смотреть на толпу. Я вижу в ней, в ее оживлении, жалкую попытку искусственного возбуждения, обмана и желания, чтобы как-нибудь, во что бы то ни стало, но не показать неблагополучия многих из нее. Я наблюдал за выражением лиц, улыбками, и как невеселы они были, когда

они переставали быть масками, когда можно было не притворяться. Меня удивляла раньше, но не удивляет теперь, очень обычная парижская картинка: небольшая толпа, слушающая очень плохие и глупые песенки, которые исполняются еще более плохими певцами и музыкантами. Как много нужно потерять, не знать и не иметь ничего хорошего, чтобы принимать такие забаву и облегчение. Несвязанная ничем кроме, может быть, неосознанной тяжести и пустоты, эта бедная толпа подбирала грязные крошки и ненадолго, но была сыта ими.

Я не разлюбил Париж, этого, мне кажется, не может случиться ни с кем. В нем живет госпожа, он, требовательный и щедрый, помогает ей в ее работе. Я помню, как часто господин в своем прошлом нескучном одиночестве жалел о том, что именно в Париже с ним не было его первой подруги. Нет! Я говорю не об этом. Мне трудно быть теперь участником парижского шума и торопливости. Но нужно ли мне их желать? Я каждую ночь вижу госпожу. Я устал, но мне неплохо и нескучно...

68.

В наших комнатах всегда тишина, у нас никогда никого не бывает. В этой тишине мне иногда слышатся давно замолкшие голоса, все чаще снится мое прошлое и ничто не мешает приготовляться к уходу и ждать ночи.

Когда госпожа приезжает из театра и я могу смотреть на нее, видеть ее движения, слышать ее слова, шаги, шелест ее платья, мне всегда думается, сколько счастья заключено в звуке ее голоса, выражении ли-

ца, в блеске печальных и добрых глаз, в руке худой и нежной. Во всем этом нет ничего особенного, но сколько здесь могло бы быть — для того, кто всего этого не дождался — покоя, счастья каждой минуты, той, почти необъяснимой, удовлетворенности, которая познается в самой обычной повседневной близости и которая иногда так велика. Госпожа знает это теперь и, вероятно, поэтому она со мной, живым звеном, связывающим ее с господином, все больше не такая, как с другими. С каждым днем она становится искреннее и проще, словно согревается, и ее первоначальный холодок и недоверие исчезли почти совершенно. И только теперь, должно быть, она такая, какой ей самой нужно быть. В ней полное доверие ко мне и полное сознание, что вдвоем со мной всякое притворство или игра бесполезно-ненужны, невозможны, запрещены. Но так, я знаю, только со мной, и не оттого ли она к нам никого не допускает? Ее жизнь проходит за стенами нашего дома. Там, в Париже, ее работа, театр, студия, ученицы и друзья, там может быть, еще кто-то, кто ей ближе остальных и с кем она чем-то связана. Еще недавно я несколько ночей подряд слышал, как возвращаясь из театра, госпожа каждый раз с кем-то долго прощалась у подъезда. Сквозь мягкий рокот мотора до меня доносился всегда один и тот же мужской голос. Было бы смешно ревновать к памяти господина. Годы госпожи, ее положение, необходимость жить, делают естественным то, что происходит. Главное — не в этом, и здесь даже не такой компромис, какой я наблюдал в господине в последние месяцы его жизни. Здесь нет ухода, нет измены, это не душевная потребность и не влечение, это давно и хорошо знакомое мне, «не то, не то». В самом деле, если было бы все не так, как я думаю, какой смысл мог бы таиться в заботе обо мне, Джиме, зачем в нашей тишине, вдвоем со мной, ей тоже нужно прислушиваться, застывать, обняв меня, за-

глядывать мне в глаза, выговаривать мое имя, вкладывая много значения в интонации голоса. Разве можно в этом жить, отдыхать, занимать себя этим без скуки, если за всем этим ничего нет? Не оттого ли это происходит, что госпожа знает, около какой любви к ней я вырос, чем была для нас она неукрашенная ничем, кроме того, что ее теперь к нам обратило? Она с нами, но ее жизнь не должна кончаться на этом, и сердце, в котором нашлось место для меня, не закрылось, не ушло от возможного. Прошлым летом и осенью, когда мы жили у моря, к нам часто подходил на пляже какой-то господин. По тому, как он надолго задерживал при поцелуе руку, говорил и заботливо обращался с госпожею, было заметно, что она для него не простая и безразличная знакомая. Как-то он принес вместе с цветами, которые приносил всегда, новую неразрезанную книгу. Отдавая ее госпоже, он говорил:

— Вот, переведена еще одна книга того самого автора, из-за «Свидания Джима» которого вы, как мне передавала ваша подруга, переехали в Париж. Вы любите, я знаю, читать и, вероятно, прочли уже и эту книгу в подлиннике, ведь автор — ваш соотечественник, но я все-таки на всякий случай решил взять ее для вас.

Недавно я прочитал и то «Свидание». Извините меня, но я совершенно не понимаю этой вещи, и еще меньше понимаю, чтобы она могла и вас не только прельстить, но и просто заинтересовать. Ваша подруга, конечно, шутила, высказывая мне свое предположение о вашем отъезде из Италии. Вы, с вашим недоверчивым и, — я говорил вам это много раз — не поженски спокойным умом, могли бы изменить что-нибудь в ваших взглядах из-за того, что там написано? Я не поверю этому никогда, это слишком невероятно и непохоже на вас. Но, кстати, я давно хочу спросить, откуда у вас этот Джим? Не в память ли того, который

столь необыкновенно в той книге нашел свою госпожу, вы приобрели себе ирландского сэттера с таким именем? В Италии его не было ни у вас, ни у ваших знакомых. Вы очень изменились за это время, и я не могу догадаться, что с вами происходит. Вероятно, самая совершенная женщина не может жить, чтобы рано или поздно не принять в свою жизнь долю фантастического.

Госпожа взяла книгу, заглянула в некоторые страницы и на все произнесенные слова знакомого спокойно и неторопливо ответила:

— Я еще задолго до Италии хотела, чтобы со мной всегда был такой, как у меня теперь, Джим.

Эти слова очень мало объяснили тому господину, и ему не осталось ничего другого, как пожать плечами. Но как много в них было сказано для меня! Вот, значит, когда уже намечался путь, по которому госпожа пришла за мною, вот что слушал и слышал мой господин в нашей ночной тишине. Госпожа никому ничего не говорит, ни с кем, кроме меня, не делится воспоминаниями и грустью, и никто, даже друг господина, с которым у нее бывают беседы о далеком и близком прошлом даже он не знает и не понимает ничего. Я слышал, как он говорил жене:

— Здесь никто ничего не разберет. Они стоили друг друга. Ей, кажется, действительно дорога память о нем, она расспрашивает у меня все мелочи, какие я помню, но я никогда не поручусь, что если бы та книга нашла ее раньше, то она стала бы его женой. Или она — великолепная артистка и в жизни, или я — слепой и дурак. Ну, хотя бы раз, уж не заплакала, ну вздохнула бы, сжала руки... а она — ничего! Да и он хорош: любить столько лет, и — ни слова, и потом — пожалуйте: эта книга, ожидание, и только за год-два до смерти точно ожил. Хорошо, что хотя она-то умнее его, не тратила и не тратит

себя попусту. Я все больше думаю, что он любил ее, как любят художники, сотворенный им образ, а то, что переживает теперь она — признательность модели, или — игра этой новой роли, которую он для нее написал. Они знали друг друга давно и близко, и им действительно лучше всего жить в одной и той же легенде. Но, только в легенде. Да и недаром: он — в его книгах, она — в балете. Оба в сказке... В жизни они не смогли бы ступить ни шага вместе.

Я не знаю, конечно, что было бы, я помню и знаю то, что было и есть Образ первой подруги явился господину не из его книги, а из его прошлого, которое шло за ним, из его любви, потому что из чего же, как не из любви вышла и та книга? Он говорил, что «Свидание» моего предшественника было попыткой проститься навсегда с девушкой, но почему же эта попытка и в тот первый раз еще более крепко привязала его к ней? А чувства госпожи? Стоит ли кому бы то ни было т а к играть какую-нибудь роль? Одиночество, старый никому ненужный Джим, какие-то тетради, та книга, воображенный мир, воображенные чувства, жизнь в воспоминаниях, — но разве все это может быть необходимым и постоянным, если та книга — только книга, если она не объяснила, не помогла поставить все на свое место? Госпожа и господин участники одной легенды? Да, конечно, это верно. Но разве то же самое не может случиться и не случилось уже в менее обостренной форме и более удачном завершении с тем же другом господина и его женой? Не так издалека, не с такой внимательностью, со счастливым умением обращать тяжелое и горькое в легкое и небольшое, не живут ли и они, пока любят друг друга, в такой же самой, ими выдуманной легенде?

69.

Итак, не одно мое недавнее чувство, но и рассудок друга господина говорит о сомнении, которое было и у меня первое время. Не ошибаюсь ли я теперь?

Но что же было бы, если бы тот Джим не опоздал? Неужели, действительно, ничего?...

Но тогда, зачем — Париж? Зачем брать к себе сохранившиеся книги, дневники и меня? Зачем распросы у друга и наше невеселое одиночество?

Госпожа, может быть, в самом деле, играет свою новую роль?

Что значат встречи на пляже, беседы, заглушенные мотором?

Но почему и в ту ночь, всего через несколько минут после разговора у подъезда, она не забыла позвать меня, заглянуть в мои глаза и ответить слабой, но почти счастливой улыбкой на то, что она в них увидела?

Почему не в книге, а на моих, видевших много правды и неправды глазах, свершается встреча госпожи и господина намного более значительная, чем она могла бы быть в представлении друга?

Почему я не завидую моему предшественнику, который был счастливее меня и нашел во время?

Не потому ли, что он не видел госпожу так, как вижу ее я, что там, в книге, возвращение происходило счастливее и проще, но не так искренно и глубоко, что он не знал торжества любви господина после его смерти?

Мне не в чем сомневаться. Госпожа могла при желании, обмануть себя, но меня обманывать ей незачем и бесполезно. И это не обман, а так, значит,нужно, что в ее жизни не может не проходить то, что проходит в жизни многих женщин. Я знаю, как все это мало значит, ненужно для госпожи, может кончиться в любую минуту, знаю, что все это лишь случайности, эпизоды,

являющиеся лишь потому что нет того, что переросло самое смерть. Что взвешивать мне еще, если опоздавшее, невозможное больше счастье сильнее и крепче тех возможностей, которые судьба посылает иногда, как небрежную подачку и заботу о том, чтобы все обычное шло в надлежащем ему порядке?...

70.

Сейчас вечер, сгущаются сумерки. В наших комнатах пустынно, тихо, полутемно. Я только что перечитал записанное мною и, кажется, я сказал все, что мне представлялось нужным. Не мне судить, удачны ли мои записи. Что смогли бы они вызвать, если бы им было суждено увидеть свет и быть замеченными? Меня осудили бы, вероятно, строже всего за то, что я, сэттер Джим, слишком очеловечился, перевел на себя переживания господина и рассказал в моей его юность. Что же делать? Я лишь повторяю то, что было рассказано в книге моего двойника и не я, Джим, виноват, что Люль и я существа вымышленные. Но разве и мне самому нельзя так же говорить, разве мы, Джимы, не близки, иногда, к людям, к их наиболее любимому и тайному?

Я слышал что где-то около Парижа есть маленький островок на Сене, отданный для нашего вечного упокоения. Там уже лежит несколько Джимов. Только ли чрезмерная чувствительность является причиной внимания к тем тлеющим костям? В них, этих костях, в заботливой о них памяти мои защита и оправдание, если кому-нибудь покажется выдуманной невозможностью мое свидание с прошлым. О нем мало кто узнает, еще меньше будет тех, кому оно сможет

стать близким. Моя цель иная: я хочу, чтобы мои госпожа и подруга меня пережили, чтобы от всего, что я в них увидел, осталось хотя бы что-нибудь, хотя бы эти мои несовершенные слова. В них нет ничего нового и необыкновенного, они — маленькая памятка и простая запись о моих самых близких спутницах и переживаниях, которые показали мне, что самая большая радость ближе всего к самой большой печали, заставили меня узнать, как трудна любовь, иногда та самая, что лишь обогащает, но как все трудное в ней — только проверка, незначительное испытание чувства и того, к чему это чувство направлено.

Ну, вот и все. Путь от корзины, в которой я спал с моими тремя братьями и из которой мосье Манье увез меня на выставку, близок к концу. Всему подведен итог. За госпожу, за Люль, я ни на что не имею права жаловаться.

Темнеет, — мне трудно заканчивать эту страницу. Но вот и сейчас, в самом конце, в тьме, которая надвигается на меня все больше, мне все так же ярко светит моя, конечно, счастливая звезда, которая вела меня всю жизнь и позволила мне узнать правду и власть любви.

Скоро ночь! Скоро и моя ночь!

Люль! Я иду к тебе. Может быть, скоро мы будем вместе. Я так давно тебя не видел, так давно не был с господином. Мы скоро встретимся и будем втроем оттуда, из другой жизни, беречь нашу госпожу.

Виктор Емельянов.

Париж,
29 декабря 1929-19 марта 1935.


Imprimerie P.I.U.F., 3, rue du Sabot - Paris (6e)